

Федор Метлицкий

Записки графомана

Повесть-эссе

Федор Федорович Метлицкий

Записки графомана.

Повесть-эссе

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64934391

SelfPub; 2021

Аннотация

Начинающий сочинитель романтических стихов ищет не обычную реальность, которую увидел в детстве на утесе в океане. Решает писать роман, и не может выйти за «корявую изгородь обыденного сознания». Мешает недо-статок опыта и неверие в достижимость вершины сизифовой горы познания. Но был уверен, что сильные чувства находятся где-то в глубине его спящих чувств. «Чтобы усилить желание писать, нужно взглянуть в глубину трагедии существования человека». Понял, что творчество зиждется на трагедии. Во сне он беседует с шаманом.

Содержание

1	5
2	8
3	19
4	23
5	36
6	45
7	54
8	58
9	62
10	67
11	73
12	79
13	83
14	85
15	91
16	111
17	118
18	124
19	127
20	131

Федор Метлицкий

Записки графомана.

Повесть-эссе

*«Каждый хочет изменить человечество,
но никто не задумывается о том,
как изменить себя».*

Л. Толстой

1

Зачем я пишу эти записки? Кому они сейчас нужны? В этом мире, разделенном на нации, угрожающие одна другой ядерным оружием, на большинство и меньшинство, на олигархов, средне обеспеченных, и на болезненно раскинувшиеся по нашей стране и миру бедность и нищенство.

Одни стремятся к безопасному и комфортному существованию, опасаясь изменений, другие рискуют, включаясь в борьбу за лучший мир. Профессионалы (узкие и широкие) взваливают ответственность на себя за поддержание жизни, а прилипалы искусно маскируются около них, раздувая щеки. Чиновники способствуют засорению отходами земли, под собою не чуя страны, а общественники-экологи беспомощно машут руками, нуждаясь в уплывающих мимо носа государственных ресурсах. Семьи забаррикадировались от соседей в своих квартирах, даже на одной лестничной клетке. Дети расходятся с родителями, не понимают друг друга. И, наконец, люди, разделенные в единстве противоположностей на мужчин и женщин, перестают сохранять это единство гендерных различий, воюя за свои права, за однополые браки.

Тем более сейчас, во время бушующей пандемии вируса «икс», которая не изменила, но еще более усугубила изоля-

цию человеческих страт. Мир распался на культурные резервации. Положительные эмоции и смыслы существования создаются только в среде себе подобных. Они создают свой круг, отдельный от внешнего зла. И только там сердце может вздрогнуть от горя, когда узнает, что сторел от «ковида» один из «наших». Может, где-то есть и моя страта?

Любовь к своему, ненависть к чужому. Чужие – это на самом деле наивные искренние люди, просто живущие и радующиеся жизни; или непоколебимые патриоты, или хорошо устроившиеся в новой жизни бывшие оппозиционеры в молодости, изменившие соратникам из-за того, что поддались страху от падения великой державы, поневоле сами подталкивая ее к обрыву; или большинство – униженные и оскорбленные.

Если посмотреть иначе, люди разделены на две неравные половины: застывшие во времени, еще не созревшие до знания, что есть боль и страдание, и – ощутившие бег времени и боль расставания с близкими. Одни, опасливые к переменам, живут в мире вертикальных связей и во всем видят мировой заговор, другие – в мире горизонтальных связей, где живут всеядные люди мира, без родины.

Нужно ли пытаться соединять своих и чужих во взаимопонимании и сострадании? Чтобы как в семье, где люди могут проникнуть друг в друга так, что это становится близостью и любовью. Сочувствовать и жалеть всех, растворяясь

в людях, видя в них свою настоящую боль, судьбу. Родину всех. Тогда остальное – установление справедливого распределения благ, приложится.

Если разделение людей будет продолжаться, то ответственность за состояние мира в целом развалится, и будет всеобщая катастрофа.

Меня всегда возбуждал вопрос: что – мне? Не нейтральному, а убиваемой судьбе? Не чем-то чужим – вот в эту минуту, а чужим – всей моей судьбе. У В. Пелевина вопросы еще круче: «Кто – я?», «Где – я?», «Кто – здесь?»

Откуда во мне это беспокойство, чего хочу от мира?

Почему моя жизнь оказалась такой надломленной? Может быть, причина в нынешнем состоянии общества, потерявшего национальную идею и смысл существования?

2

Я – выходец из советской системы, до сих пор, в XXI веке, с неустранимой темной сутью мечтателя о том, когда «народы, распри позабыв, в единую семью соединятся».

Я – оттуда, где первобытное племя на востоке было отрезано от других культур, кроме своей мистической фольклорной культуры. Отрезано от мировой культуры, литературы и искусства («Бстракт!» – презирали наши чужую культуру). Тогда невежество на окраине, вытирающей зады газетой, было естественным, не внедрено насильно, не то, что в более просвещенном центре, где дух был заперт диктатурой. И в моем детстве люди казались живущими в однотонном мире.

*Я болен болезнью дикаря,
Вокруг которого – небо и море.
Как чистый лист,
первозданно восходит заря,
Но племя стоит,
затеряно в вечном просторе.*

В молодости верил в романтические абстракции, в город Солнца. Тогда еще не читал догадки мыслителей, что эта вера на деле расчищала путь трупами чужих жизней – корень

нашего жертвенного романтизма, не осознаваемый до конца и не описанный до сих пор. Романтизм родился в средние века, и выродился в пустые иллюзии, даже в мистику фашизма.

По типу мышления люди делятся на технарей и гуманитариев. Физиков и лириков. Так ли это, не знаю, ведь, многие технари пишут стихи и становятся бардами. У меня явно развито правое полушарие. Мою пустую душу естественно заполнили классики. Смотрю на них сейчас, на книжных полках моего кабинета-спальни, во всю стену. Пушкин, Достоевский, Чехов и другие, пробившиеся новые писатели, которые есть в библиотеках всех приличных интеллигентских квартир. Любимые авторы стоят обложками впереди, чтобы ласкали взгляд, когда просыпаюсь, а нелюбимые, плохие, спрятаны сзади. Когда открывал эти книги, не надоедающие тексты, от них исходила чудесная энергия. Правда, не понимал, как это им удается попадать в самое сердце читателя.

Думаю, что в моем воспитании было не только влияние любимых классиков. Что-то было во мне самом.

*Жизнь моя началась,
как замысел вечности – с моря,
где жило первобытное племя –
пароходом, засевшим на скалах подводных,*

*и на берегу – дарами банок с томатной пастой,
и стеклянных шаров от сетей.*

Я жил в не обычной для многих реальности. Как-то мы, школьники, всем классом совершали экскурсию – на катере выплыли из тихой бухты родного городка и очутились в океане, высадились на острове Буян. Там был райский пляж, над которым нависали сосны со странными широкими иголками-листьями вместо колючек, и вдали в бухточке стояли три высоких столба – утесы.

Вся усталость, когда карабкался на утес, исчезла. Когда удалось забраться на вершину одного из них, нам открылось нечто небывалое. Все тело трепетало, уходя в безграничную массу воды, казавшуюся неподвижной в светлой мгле, и одновременно текучей, как энергия. Вот-вот взлечу и унесусь в исцеляющую бездну.

*На краю земли или в космосе –
Высоко над бездною вод,
В новизне небывалой утесы
Одиноко встречают восход.
Как народы, здесь травы склоненные
Жмутся вместе, а ветры метут!
Одиночество во вселенной
В новизну ли уйдет, в пустоту?
Только чайки парят над утесами,*

*Только ветер, лишь ветер поет.
Что ж туда – уже не вопросами,
А печалью неясной влечет?
Я шепчу: у-те-е-сы, у-те-е-сы-ы...
И всегда возникает одно –
Вечный ветер, и травы причесанные,
Шепот вечности, не одиночек.*

Отсюда я видел целый мир. Это не мир иллюзии, не метафора, а реальность, что не знает голой предметности, не замечающей вокруг себя никого и ничего. Там нет бегающего глазами тщеславия, жадности слепого благоустройства, не видящего бездны. Реальная и притягательная энергия, в которой заключается все – и благоговение перед природой и жизнью, и глубокая печаль краткости, и боль потерь, и одинокий парус, ищущий чего-то в стране далекой, и неистребимая вера в бессмертие. Энергию океана можно изобразить словами, как что-то конкретное.

И много позже, когда засыпал, иногда, словно по мановению волшебной палочки, вставала иная, не обычная реальность. Стоял на высоком утесе, где шелестели никем не виданные высокие травы, и открывался океан детства, в его раскрытом безмолвии мира было все, о чем мечтал, и загадочная печаль.

Когда я приехал из провинции в центр и поступил в институт, то здесь жизнь представилась мне пресной, в которой недоставало чего-то.

В автобусе какая-то тетка, сидя с раздвинутыми в стороны толстыми ногами, спрашивала: «Как проехать к Матронушке?» И высадилась у могучего краснокирпичного здания монастыря-новодела, на кресты которого молилась большая толпа верующих. Наверно, ей больше некуда было пойти со своими семейными неурядицами.

На площади высилась большая горделивая елка, вся в цветных светодиодных игрушках, во дворах хлопки салюта, пьяное кружение гуляющих, – все это показалось мне проявлением детского незрелого сознания.

На улице люди в доспехах космонавтов бежали за убегающей группой людей, видимо, демонстрантов, били их дубинками. Мне тоже пришлось спрятаться в подворотне.

Поселился в общежитии, большом и многолюдном, студенты из моей комнаты сидели в ярко освещенном коридоре у двери на кипах книг и скучно зубрили учебники по скачанным из интернета экзаменационным билетам – это была ночь перед экзаменами.

Ярко освещенный широкий и длинный коридор не замыкался, был сквозной, проходя по всему периметру нашего этажа, и потому был очень уютным домашним местом для занятий прямо на полу и гуляний влюбленных парочек. Бо-

лее того, парочки могли уединяться на пыльном захламленном чердаке под мощными стропилами крыши.

И я быстро забыл свой городок у океана, рыская вместе с приятелями в поисках любви и развлечений в ночных клубах. Гулял вдоль набережной реки с девчонкой, обнимал, прижимая гибкое тело к парапету, мучая ее и себя. Лихорадочно зубрил учебники – только перед самыми экзаменами. Я, одинокий нищий студент-провинциал, жил отчаянными надеждами, осиянными отблесками знания.

Внешняя, общественная жизнь, не внушала нам, студентам, большого интереса. Когда смотрели «телеящик» в комнате нашего общежития, в нем не было событий, которые нас бы интересовали, одни происки доминирующей мировой державы и «развлекаловка», или «жареные факты».

На «ток-шоу» яростные люди с ненавистными взглядами обвиняли оппозиционеров, представлявших угрозу их неплохому положению в иерархии общества. Это в отсутствие самих оппозиционеров, не могущих дать сдачи. Клевали только либерала, приглашенного в качестве мальчика для битья, – толстяка с модно не бритым лицом, когда-то занимавшего видный пост в прежнем правительстве. Он снисходительно смотрел, из неведомой высоты, на недоброжелательные лица, изредка пытался мощным голосом подавить неразумных, но его забивали криками.

Я чувствовал на себе наглую усмешку красотки ведущей, перебивающей противника наглым голосом. Странно, как влияет идеология на интерес к женщине! Брр... Мне было противно подумать об отношениях с ней.

Телеведущие в фирменных кителях и костюмах, осенив себя крестом перед невидимым милосердным богом, вели ток-шоу, заполненные распрями потомков известных людей из-за наследства, горестями разлученных семей, брошенных в младенчестве детей, по всей географии страны, видно, для поучения гражданам. Соболезновали страдающей молодой матери, брошенной мужем и изгнанной из дома и общежития, которой пришлось подбросить ребенка в детский дом. Наверно, в жизни, а не на экране, таких случаев гораздо меньше.

На экране были и жизнерадостные события. Показывали пионеров-участников военно-патриотического лагеря, они дружно пели:

*Вы скоро, наверно, на Марс полетите,
Космический мир покорять.
Пожалуйста, нас с собой захватите,
Мы тоже хотим все узнать.*

Мы просиживали часы за компьютером в кабинете информатики, получая сведения о мире в интернете. Там мир был разнообразным, независимые каналы и блоги казались

более правдивыми.

Как и все иногородние студенты, я существовал на скудные деньги, которые исправно присылали мне родители на прожитие. Все еще не привык к новой реальности. Все удивляло, и поэтому все принимал. Как говорится, был вне политики, как эстрадные певцы и артисты, воспевающие любовные томления. Общество, требующее быть патриотом, мужчиной, воином-победителем и т. п., не мешало мне. Но не хотел, чтобы навязывали, как жить. Чего же хотел? Не знал, я был всеяден.

Меня почему-то увлек литературный кружок, который вел коренастый поэт в шерстяной кепке набекрень, под Маяковского.

Нас, бездельников, было много, пишущих о заре, полевых цветах, птицах в небе. Он поражал жестким выражением лошадиного лица:

– Ничего нейтрального нет! Посмотрите на лес, – показывал за окно. – Вообразите, что за ним... Освенцим. Какие у вас будут краски, настроение?

Я писал стихи. То есть изредка из меня нехотя выходили какие-то строчки, словно не мои, а кем-то надиктованные.

Сила воображения оживляется, когда задумываешься, сочиняя стихи. Стихами мог лучше выразить смутное виде-

ние: что – мне? Потому что перед глазами сразу возникала не картинка, а сама судьба, с тревогой и печалью глядящая в будущее. Все мое мироощущение – как на тарелочке. Органичная мощь нутра, глубинное шевеление гениальности. Сложная ткань текста, а не что-то плоское, социальное. Дух рождается на вершинах мук и наслаждений.

Площадка поэзии – целый мир, а не мое конкретное место у книжных полок библиотеки. То есть, дело в «охвате всего», а не в изображении картинки.

*У всех времен распахнута душа,
И в «формуле весны» грядет наука,
И сквозь пропеллера стрекозий шар
Дивишься, бездной кривизны испуган.*

Так что, до мысли об изменении общественного устройства, о котором мечтали мыслители, я еще не дорос. Но чувствовал, что зависимая жизнь моей податливой натуры – это страшный удар – в самое сердце! – по человеческому достоинству. До сих пор испытываю странную ностальгию от песни «Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля...», обнаруживая в себе «совка». Во мне тоже сидит «дорогое прошлое». Перелеты наших летчиков в Америку, челюскинцы, Тимур и его команда, Любовь Орлова. И недостижимые высоты подвига людей в отечественную войну, и полет Гагарина в космос. И в то же время море на окраине зем-

ли, классики литературы, раскрытый мир школьных друзей.

Это не расходилось со временем, и к тому же так ощущать его было безопасно. Но я уже чувствовал какой-то обман, и сердце было сухим.

Что-то здесь не так. Ведь, всегда хотел жить в «родине всех».

*Я лимитчик без родины вечной.
Не она ли – бескрайний блеск
На краю земли этой вечной,
Там, где детства прозрачный всплеск?
Но давно распах изумрудный
Бухты детства канул в годах,
И в моем лимитчестве трудном
Что излечит, какой же распах?
Сколько было свободы простора
Уходить в бездонность стихов,
В безоглядном любовном напоре
И в отверженных зорях садов.
Жизнь неважно, наверное, прожил,
И не вышел в расправленный век.
Что мне надо? Лишь снятия ноши,
Тяжкой ноши на сердце у всех.
И в какие б ни канул свободы,
Все томит меня ноша, как грех —
Одиночество без заботы,*

Что излечит лишь родина всех.

Почему моя жизнь отделена от жизни всех? Или единой боли всех нет? Может быть, мое одиночество – совсем не в метафизическом заторе сознания?

Редактор молодежной газеты упрекала:

– В твоих стихах есть что-то безвоздушное.

3

Окончив институт, я вышел в мир, раскрыв «варежку».

А на улицах шумел важный серьезный мир, выше моего понимания. Люди в основной массе, как и мы, студенты, мало обращали внимания на политику, на то, что делает власть. Человек в своей социальной жизни вложен в Систему. Вся страна живет в одной Системе, как во времена моих родителей. Все знали, что ее надо укреплять, и родная власть делает все, чтобы нас защитить от окруживших нас ракетами врагов. Хотя бродили зловещие мысли, что она нуждается в изменении, а лучше в полной замене. Почему бы в Системе не иметь места всеобщей близости и пониманию?

Люди жили настоящей жизнью, в своем обыденном сознании, – вне политики, радостями и заботами о своих семьях и родственниках, о продолжении рода в потомках. Сторонились или подлаживались под власть, обладающую дубинками насилия, что опасно или губительно для них. Люди казались невысказанно сложными в оттенках изворотливости, фальши, равнодушия, ненамеренной жестокости и тупости. Хотя было что-то детское в отношениях, как в двусмысленных шуточках по поводу притяжения полов. Был поражен, как простые и грубые интересы некоторых служивых людей открыто прикрываются преданностью родине, патриотизмом, защи-

той государства, осажденного врагами.

И все чувствуют нестабильность, переходящую в истерику. Тут не нужна поэзия.

Почему люди не хотят выйти за пределы своих обычных забот, обыденного сознания? Неужели это страх за свою жизнь, перешедший в стокгольмский синдром? Ведь, я ищу, потому что задыхаюсь! Во всяком случае, недавно искал. Зачем заставлять людей искать что-то еще? Гамлет говорил о бедном Полонии: «... ему надо плясовую песенку или непристойный рассказ, иначе он спит».

Короче, я столкнулся с обыденной реальностью, рациональностью мышления. Это была другая способность видеть, отличная от той не обычной реальности, которую испытал.

Я самонадеянно считал, что обыденное сознание, в отличие от моего, – это то, когда обыватель знает обо всем понаслышке, не интересуясь глубиной событий. В его душу проник лишь один источник информации о мире, который только и был доступен для него и переродил сознание – государственный «телеящик», и он, уверенный в его непогрешимости, отвергает альтернативные источники, например, интернет.

Один из представителей народа фыркнул:

– Оппозиционеры? Они все предатели.

– Можно узнать, почему? – спросил я.

– Ты что, телевизор не смотришь! – грозно сказал он.

– Я интернет...

– Помойка – ваш интернет!

Избегание ответственности, унижение достоинства – мотив любой формы коллективизма (тогда я читал психолога В. Франкла, бывшего узника Освенцима).

Люди верят в иллюзии, идут ощупью не зная куда, и цепляясь за спасительные общие истины. Потрясения могут их убить, и потому им хочется только приятного, развлечений. Оттого они смешны и даже милы. Я почему-то сострадал и жалел наивных людей. Всегда страшился только тех, кто ведет их насильно, убежденный с своей жестокой правоте.

Давным-давно отодвинулись куда-то годы войны, когда люди были собранными, плоскими и однозначными, ответственными за страну, отлитыми из цельного куска стали. Если бы была война, я тоже был бы чистым и цельным, «пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать».

Люди расслабились, вспомнили о хорошей жизни, и захотели пожить, иметь блага, выбиться на другой уровень. Брать на себя ответственность, любить и ненавидеть, – слишком тяжело. Все приспособлялись, как встарь, иначе человек не выживет. Возжелали престижных вещей, удовольствий и развлечений, что дает развитие компьютерной техники, искусственного интеллекта, создание биороботов взамен себя, отчего теряется чувство ответственности за сохранение рода, развивается эгоистичность и лень.

И я такой же, хотя во мне есть красная черта, ниже кото-

рой не позволяет опускаться совесть. Хотя иногда не удерживался от мелкой подлости особенно когда изменял подруге, но потом всегда помнил, и при воспоминании обжигал стыд, как нечто постыдное и страшное.

Короче, мы лишаемся способности мыслить и трудиться. Зачем, если работу за людей выполняют машины, автоматические линии и роботы? Пусть это не отменяет неравенство в использовании ресурсов и уровня жизни таких, как я, нищий студент.

Как пишут ученые, в результате научно-технического развития снижается рождаемость населения. Человечество, избалованное комфортом, растеряет в оранжерейных условиях данный ему природный инстинкт продолжения рода. И дети, которые родятся к 2080 году, станут последними жителями Земли. Рождаемость снизится до нуля. Я не мог вообразить, как это? Любовь, а значит, и дети будут всегда.

Неужели когда-нибудь все закончится? И не нужно будет оставлять что-то после себя? Разве миллиарды умерших, оказавшихся сзади нас, и все гении истории, проложившие путь человечеству, не исчезнут вместе с планетой, которую может уничтожить пандемия, или сами нынешние поколения?

4

Я хотел не славы, на самом деле искал неведомый смысл, желая разобраться в себе и мире. Всегда хотел понять, для чего все это? Почему занимаюсь не тем, что хочу? А что хочу?

Ответить на эти вопросы могли только поэзия и литература. То есть необходимо было – время уходит, скоро буду стариком! – срочно искать ответа стихами и прозой. Хотелось писать не ежедневными впечатлениями, а судьбой. Ведь, после тяжелых и бесплодных усилий выразить словом что-то – вдруг открывается нечто пронзительное, истина! Это маленькое счастье творца.

Хотя все же Плиний младший оставил книгу писем – форточку в Древний Рим, и его запомнили последующие поколения. Я был непрочь остаться в истории хотя бы Плинием младшим.

Наверно, я родился с какой-то кровоточащей трещинкой в сердце, не дававшей мне покоя, как, например, у кумира моего детства Лермонтова, с его детскими стихами «... в моей душе, как в океане, надежд разбитых груз лежит».

Я ищу небывалой жизни.

Как сильна прикипелость к стиху!

*Графоманство жерновом виснет
Непомерных темных потуг.
Страх ли в них государственной мощи,
Или биологически смят?
Я густую темную ношу
Сброшу – в новом рожденье меня.
Там, за этим – я весь нормальный,
Как нормальна свежесть веков.
Что же прыгает аномально
Здесь – к неясному выходу зов?*

Инстинктивно опирался на нечто главное, что сидело во мне. Желание вникнуть в суть вопросов: что хочет от меня космическая реальность, и чего мне от нее надо? – могло вывести на какой-то верный путь – мог писать уже что-то определенное, что не отдавало бы нестерпимой фальшью бессмысленности.

Я не из тех, кто, влюбившись сразу по взрослении, навешивают на себя вериги в виде семьи. Не думал о семье, не хотел детей, это не по мне. Упрямо решил посвятить себя литературе.

Когда я писал стихи, то словно выскакивал из обыденного сознания. Было непонятно, как получается так. Без рациональной разборки этого механизма ничего не мог понять –

как выхожу туда, в свободную исцеляющую ощупь?

Однако стихи чем-то не удовлетворяли. Наверно, все могут писать стихи, особенно о любви. Приходит вдохновение, даже у домохозяйки, и появляются дивные строки, которые даже поют в народе, распространяются повсюду. Но чего мне в них не хватает? При всемирных потрясениях, тяжелой доле народа петь только о любви – как-то становится совестно. Как будто здесь есть нечто поверхностное, нарушается равновесие, гармония.

Мои стихи казались мне чем-то несерьезным, погруженным в романтическую туманность, пустую вечность, а не в реальную жизнь. Хотя поэзию почему-то принижает и обращение к социальным проблемам, негодование по поводу запрещающих действий властей, неудовлетворенность, приспособление к потребностям в угоду чему-то. Тем более идеология – это не истина души.

Сейчас людям не до стихов (или не до плохих стихов?). То ли дело широкое полотно повествования, в ореоле мечты, охватывающее жизнь целой эпохи и заглядывающее во все уголки мироздания! Хотя людям и до этого мало дела.

Я всегда хотел писать прозу, более содержательную и разнообразную. Но когда переключался на прозу, в душе становилось все серым. Исчезала та пронзительная печаль, когда писал стихи, видя с утеса непостижимый океан. Почему-то отрывал изображаемое от переживания всем нутром. Смотрел слепыми глазами на внешние картинки, исчезала

органичная мощь нутра, увидевшего все. Что бы ни писал, было скучно даже самому себе. Может, утратил навсегда иную, необычную реальность? И потом, осмысление мира с точки зрения романтического устремления в «не обычный мир, безгранично близкое», – всего лишь «неземная» эмоция.

Все время был уверен, что текст должен быть сильнейшей эмоцией, переживанием полета в безгранично близкое. Или физическими муками одиночества в отчужденном мире. Дух и тело должны испытывать потрясения. Ярость и безрассудство ухода в истину.

Но погружение в эту энергию постепенно превращалось в сомнения.

А где бесчеловечность эпохи, ее жуткое равнодушие к людям? А как же плачущие от обид, беззащитные и униженные, отвергнутые миром? А как быть с засилием пошлости? Надо ли заточить негодование, как оппозиционеры? И вместе с ними выходить за изгородь, внутри которой кроются все обиды и унижения?

А где же холодное осознание всех механизмов и винтиков развития человечества? И вообще, что такое живое, фантастически развившееся из амёбы, о чем вопрошал Н. Гумилев?

*Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья...*

Откуда сама амеба, возникшая из мест невыносимых температур вселенной?

Нужно познание и рациональное, разумом. Но мышление – субъектно. Невозможно мыслить без отношения человека к миру в его различных настроениях, чувствах, действиях и поступках. Как рождается истина, предмет духовного исследования? Логической структурой познания бытия? Как объективные черты оказываются присущими предмету духовного познания?

Рациональное познание – это отстранение от себя, модель чего-то иного, чем бездумное ощущение. Игра, чтобы раскрыть глубины, которые ничем другим не открыть. Непонятное желание увидеть мир отстраненно – связано с осмыслением разумом, то есть отпадением от животного ощущения мира. Хотя в глубоком знании жизни нет. Но есть страшное осознание человеком себя, у которого нет знания.

Мне было страшно – как много надо знать, перелопатить столько материалов, вобрать в себя столько смыслов, чтобы уяснить свой! Это неподъемно!

Мешал какой-то привычный круг внутри уродливой, но прочной изгороди в сознании, через которую не мог даже перевалить, не то, что перепрыгнуть. Перед которой я метался в разные стороны, оставаясь неучем и графоманом. Затор в метафизическом устройстве живого существа.

За кривым забором обыденного сознания меня цепко дер-

жало то, что неосяземо подхватил из всех мнений, газет и телевидения. Правда, и из великих книг, ставших затрепанными цитатами, которые штудировал, беря их в библиотеке. Это и было моим смутным убеждением.

Мои мотивации не связаны с социализацией личности. Не было точек опоры в обществе: у меня нет постоянного места, осмысленного образования, привязывающей к жизни семьи, работы, имущества и т. д., что могло бы увлечь в глубины конкретного мира.

Что меня влечет к писанию? Если глянуть на это со стороны, то, кажется, это болезнь, ибо для автора литература – это не жизнь, она выедает жизнь.

Я читал книги взахлеб, в основном по ночам, хищнически потреблял информацию о мире, не понимая скрытых намеков смысла, тем более общих смыслов истории, не знал, что мне нужно. Мысли уносили от физического ощущения тела. Но смысл так и не выявлялся. Я портил бумагу, инстинктивно изображая персонажей в виде отдельно положительных и отдельно отрицательных людей, себя, естественно, подразумевал демиургом.

Путалась под ногами мысль: какая связь между словом и переживанием человека? Как присваиваются имена переживанию? Почему одни могут вырвать из себя «огнедышащее слово», по выражению Гоголя, «так, что содрогнется человек от проснувшихся железных сил своих», а другие накру-

чивают жесткие, как проволока, строчки? Да где ж его найти, это огнедышащее слово? Это же продукт неистового желания высказать все – Другому! Чтобы писать интересно, надо задевать самые сокровенные струны души человека, оскорбить его правдой. Научить его гневу. Кровоточить сердцем!

«Что задевает? – заклинал я в дневнике. – Влюбленность, смерть близких? Измена, наглый обман, преследование? Жалость, одиночество, поиски исцеления?»

Текст должен быть отблеском подлинной бездны человеческой души, истории, необычного мира. А переживание обретається в конкретной обстановке существования – когда резко воспринимаешь отношение к себе – теплое расположение или холодность чужого тебе человека. А во мне недостает силы переживания, откуда исходит оценка образа, и не включается настоящее *думание чувством*? Может быть, у меня нет механизма слияния слова с переживанием, оно у меня немо, и я трещу помимо переживаний. И точность образа не зависит от силы переживания. Мозг обрабатывает образы, но оценка отсутствует.

И как описывать отрицательных персонажей, которых видел сплошь, – ведь они скучны! Но почему пустая баба Чехова, видящая себя цветущим вишневым деревцем, интересна? Думал так, пока не понял, что таких нет. Ни во мне, ни в других нет исключительно положительного или отрицательного. Во мне, положительном, столько говна – неумения разобраться с тенденциями, баболюба и балабола, хитрована

в делах, тонко рассчитывающего, что и как для меня лучше. И не очень доброжелательного к ближним.

И не умел плести интригу: удивляться действиям героев, не догадываясь – что дальше: «Он, пряча какие-то бумаги, вышел». Выкладывал все карты сразу, наверно, оттого, что заранее знал конец. На сюжет среднего детектива нанизываются одинаковые коллизии с внешними физическими переживаниями – убийства из ревности, из-за бабла, но только не внутренние драмы бессюжетного артхауса («авторского кино»), и не моей исповеди. Книжки о Холмсе Конан Дойла были не детективами, а преступным воздухом старого Лондона, «Преступление и наказание» Достоевского – не детективом, а психологией бунтующего петербургского студента. Я предпочитал духовные коллизии, хотя они скучнее и не нравятся большинству. Жизнь – загадка, которую нельзя разгадать. Тайна – в недоговаривании, говорил Пушкин. Что было дальше с Дмитрием Дмитричем Гуровым и дамой с собачкой с их тянущейся запретной любовью, никто не знает. Только по прошествии ста с лишним лет мы догадываемся – ничего хорошего их не ждало.

Не говоря уже о диалоге. Чтобы был живой диалог, надо, чтобы персонаж необъяснимо привлекал, как девушки, которых любил, или бешено злил, как тот бригадир в строительной бригаде, где мы, студенты, отрабатывали практику: «Мне мэтры давай, мэтры!» У меня же это прямое столкновение идей, в которых борются друг с другом бумажные

герои. А где персонажи во весь рост, их биографии, где история, и место, где должны находиться спорящие? Жесты, внутренний диалог?

Чувствовал также, что не могу видеть мир метафорически, то есть оживлять абстрактные мысли, или объекты, чтобы они трепетали, уходили от ужаса – у сердца! – в иные грустящие безмерности. Хотя в стихах ощущал себя хозяином метафоры, и говорю метафорами, не сознавая этого. Сам язык – сплошь метафоричен! Но мои метафоры исходили из абстрактной мысли, откуда-то сверху, а не из реальных событий, рождающих метафоры смысла. Но и метафора – это еще не все, она однобока.

А главное, сразу вставала та уродливая изгородь будничных событий, внутри которых прозябал. И преодолеть фотографичность взгляда не было сил, не мог включить переживание. Переживание – это включение всей личности в мироощущение, трепет судьбы. Нюансы чувств, укрупненные до судьбы, помещенной во вселенную!

Мое же зрение отключало переживание. Общественная жизнь была чужда мне. Поэтому не мог построить крутой сюжет, тем более детективный. Как его строить, когда мысли лоскутные?

И – во мне нет иронии! То есть изображения с серьезным видом глупостей человеческих. А это, ведь, из окукленности обывателя, смешного в своих попытках приспособиться, не видящего со стороны своего прозябания и восприни-

мающего себя слишком серьезно. И потому считающего себя главной персоной мира. Ирония, юмор возникают, когда относишься серьезно к тому, что низко. Внутренняя комичность людей в их утробной правоте. Как смешна грызня между странами из-за своих интересов! Как смешны вилияния изворотливых людей, чтобы преуспеть! Их предрассудки, чудачества. А смех над собой, жаждущим открыть необычную реальность? Жизнь нелепа и загадочна.

Я жил случайностями, не придавая значения историческим связям. Сартр говорил: «Мгновения перестают наугад громоздиться одно на другом, (когда) их подцепил конец истории».

Загадка – сам мир. Я еще не знал, какую интригу можно сделать из этой загадки.

Мои рассказы я отдавал в редакции. Это были тексты, как у многих других, по таким же рецептам, какие рекомендовали критики – описатели классиков, уверенной рукой размашисто писавшие:

«1. Герой борется, запутывает все, за четверть до конца книги должен быть третий сюжетный узел: происходит фатальное событие, после чего изменить уже ничего нельзя.»

2. Кризис неотвратим! На героев и читателя опускается

осознание трагедии. Зло победило. Как выпутаться?

3. *Кульминация: или герой перерождается, совершает невозможное, либо терпит крах. Желателен катарсис – мощное чувство очищения. Читатель должен ощущать себя сильнее, чище.*

4. *Развязка – удовлетворение всех вопросов. Все связано с идеей и темой».*

Стандартные авторы изображают «образы», в их уста вкладывают монологи и диалоги, и, чтобы не быть писателем скучного настоящего, уходят то в крутую историю, то в непохожее будущее, чтобы хоть как-то оторваться от тупой природы. Стремятся, чтобы читатель испытал потрясение, животный страх – как в сюжетах преследования. Следуя Хичкоку, используют контраст между незнанием жертвы и знанием автора о зловещих последствиях.

Как-то посмотрел телефильм: уголовники поймали красавицу, невесту героя, стали ее насиловать. На этом серия окончилась. Ночью перед сном навязчиво вставала мысль: изнасиловали? Следующим вечером бросился к «ящику». Оказывается, в следующей серии герой успел перестрелять насильников и развязал пленницу. Отлегло: не успели изнасиловать!

Это натурализм наоборот, идеи их книг те же, из привычных восприятий. Они перепрыгивают через изгородь будничных событий прямо в общепринятые истины, или гонят сюжет вообще без истин, не стараясь самостоятельно караб-

каться на неприступную вершину горы познания, куда безуспешно взбирался Сизиф.

Они играют на одной струне читателя – страха и радости, что это не со мной, и обезьяньего любопытства. Я этого не умел. Один редактор с сомнением вертел в руках мои листки.

– Как-то все у вас... слишком серьезно, и абстрактно.

Откровенно говоря, раздумывать и писать особенно не хотелось, как и всем обыкновенным ленивым людям.

Меня не били, не отрывали руки, ноги, не было того страдания, которое преодолеть невозможно. Потому и не было могучей силы жить. Был уверен, что сильные чувства находятся где-то в глубине моих спящих чувств. Недаром во мне вспыхивает удивительное ощущение безграничной близости с миром, неясной, как бесконечный засасывающий океан моего детства. Видимо, они возбуждятся, когда раскопаю сильнейшее желание спастись, или негодование от насилия – ударов под дых, позорное унижение. Было ли это у меня? Не раз! Униженность, когда приятель в студенческом общежитии дал мне в морду, за прилюдные насмешки над ним, и я только утерся перед бугаем с громадными кулаками, даже не вызвал на дуэль, как Печорин. Измены, и насмешки девчонки, в которую влюбился. Стыд, который тревожит совесть и сейчас.

Может быть, литература не мое дело? А мое – нечто иное?

И я начинал копать в своих переживаниях. Хотел разжечь себя, бегал по квартире, почесывая малознакомое собственное тело. Вот оно, ощущение чужого – в упор! – отняли все! Убежал беженцем, нищ и гол! Нет родного, единственно раскрытого мне, заперт в себе самом.

Как говорил об этом какой-то писатель, я перетряхивал всего себя, все накопленные переживания, что во мне были.

Я делил то, что дорого человеку, на разные уровни привязанности.

Что держит человека на земле? В молодости – напор жизненной силы, в жару которой ничего не ясно, кроме ясности расходовать бесконечные силы, не разбираясь, где твое любимое, – как перехват дыхания фаната, погруженного в действие на футбольном поле. Хотя молодость можно быстро сломать унижением.

А потом приходит спокойная ясность, когда тебя держит только тепло близких людей, лишь они тебя поймут и простят.

Что такое любить?

Самая сильная любовь – в семье, любовь к жене (мужу), детям и родителям. Оказалось, что спасает только семья, близкие, единственные, кто могут понять, пожалеть и приласкать. Хотя со старением остается только сузившийся круг, ибо одни отошли в дорогую память, а другие – не дорожили тобой, как дети, что осознают потерю только после твоей смерти. То есть, остается жена, и единственным утешением будет сознавать, что лишь она закроет тебе глаза.

А есть навязанная обстоятельствами жизнь, которую и бросить нельзя, и жить постыло. Она становится собствен-

ным телом, как хромота.

Конечно, есть градация людей, совсем не чувствующих чужих страданий, которые, узнав, что умирает родственник, спокойно пьют чай и занимаются своим делом, как герой Достоевского.

Еще один уровень – любовь к малой родине, особенно дорогой для тех, кто шатался по миру, и осознал, что без нее – один на целом свете.

Постепенно уходят привычные представления о любви к родине. Становится более размытым уровень привязанности к своему этносу, возникшей в местах, ставших родными в течение поколений. Все мы вышли из любви к привычному, родному, куда возвращаться – единственная отрада. Все, что вне этого взгляда, – чужое, то, чего в нашей жизни не было, ничто. Бессмертие нации – внутри нее. Неужели любовь возникает из этого истока?

А вот любовь к человечеству, и самой планете Земля можно ощутить только тогда, когда наступит конец света, и без нее станешь задыхаться, как рыба, выброшенная из океана на песок. Можно ощутить в себе даже любовь к Вселенной, когдаобразишь, что через миллиарды лет расширения она медленно охладится и растает где-то вместе с нами.

Любовь возникает от предчувствия расставания.

Перед окончанием института я все-таки встретил ту, ко-

торая, казалось, всегда была родной, словно знал с детства. Встретился с Катей, студенткой медицинского института, случайно, и у меня почему-то не было досады от помехи моим творческим изысканиям. Она-то и была самым творческим возбуждением.

Переселился из общежития в ее двухкомнатную квартиру, оставшуюся после смерти матери. Это была непривычная жизнь, словно с диковинной жар-птицей. Она оказалась умной и не умеющей лгать, как будто ее приговорили к честности, и всегда было интересно, не надоедало. Она была брезглива, как герой Набокова в «Даре», который перестал мыться в ванне, когда увидал в ней чужой волос.

Меня всегда почему-то влекло к таким, гордым и независимым девушкам. Может быть, потому что я близнец по гороскопу. А близнецы – «гуляки праздные, единого прекрасного жрецы», кому требуется сильная рука.

Мы общались мало, потому что были вечно заняты. Утром спешили на работу, встречались в основном вечером, Катя мало распространялась, что там делала, а я выныривал из ниоткуда, словно был не на работе, а, как ей казалось, обитал где-то в ином мире, в безделье.

Обычно она чутко слушает, как я сплю за стеной в моем кабинете-спальне, и бросается на каждый мой всхрап. Ежедневно на кухне записывает в дневничке, сколько я принимаю таблеток. Когда я уходил на работу или в магазин, она тревожилась:

– Боюсь, что с тобой что-нибудь произойдет. Тебя надо опекать, как ребенка.

Она все время смешила меня озабоченностью недостатками своей фигуры.

– Чем больше ем, тем глаже становится лицо, но появляется живот. Тогда ем меньше, но лицо становится как тряпка.

– Царь Соломон не разрешил бы эту проблему, – сочувствовал я.

Или она озабоченно рассматривала свое лицо.

– Я не перекрасилась? Посмотри на мои щеки. А то иногда вижу сумасшедших старух, и страшно боюсь!

Мода – это желание людей быть прекрасными, идеалом красоты эпохи. Кристиан Диор вдохновлялся послевоенной страстью к иному, чудесному человеку, вышедшему из грязных окопов войны.

Я ревновал ее: неужели она красится еще ради кого-то, а не для меня?

Катя жила в мире всеобщей доброжелательности и эмпатии. Как-то пришла из парфюмерно-косметического магазина «Иль де Ботэ», пересчитала деньги. Не хватало тысячи рублей. Она рылась в кошельке, перебирая десятки дисконтных карт.

– Наверно, запуталась в картах.

И тут же из магазина пришло SMS-сообщение: просят зайти, ошиблись при выдаче денег.

Вернувшись из магазина, она радостно сказала:

– Девчонки извинились – не учли две карты. Вернули.

И все еще сомневалась: не она ли обсчитала магазин?

– Наверно, это они запутались, я ведь еще и наличными брала.

Она жила в чудесном магазине духа – чистого обмена духов и духа.

Катя обладала чистым альтруизмом ко всему, что было освещено лучом ее внимания. Могла броситься на помощь всему живому, стонущему или пищавшему от боли. И этим невольно намагничивала меня, отчего мы часто попадали впросак.

Однажды мы вызвали мастера из «Компьютерной помощи» обновить старый планшет. Это оказался молоденький юркий красавчик в курточке с капюшоном, с выглядывающими бегающими глазками. Жена заботливо и жалеючи, как мама, смотрела на него, подперев подбородок рукой, пока тот пугал, что гаджет густо зарос вирусами. Принесла ему кофе с бутербродами, которое он стыдливо отхлебывал.

Мы всполошилась, когда тот насчитал сумму, равную стоимости трех новых планшетов с начинкой. Природная честность не позволила ей засомневаться в сумме, которой у нас не было. И я, жертва многих обманов, ставший опытным волком, поддался ее напору совести и ответственности, и позволил ей выгрести все деньги – немного не хватало, из нашего кошелька. Пришлось брать займы. Юный негодяй

не постеснялся на следующий день прибежать за остатком.

Тогда лишь мы опомнились. Что это было за наваждение? Меня, несомненно, заворожила жена. А жена купилась, как наивные пенсионерки, отдававшие всю пенсию, не догадываясь, что есть на свете негодяи. Она идеальный объект для вымогателей.

Как-то мы пошли на новый спектакль в модный театр с современным репертуаром. Катя, в белом платье, преобразилась, в ожидании какого-то волшебства.

Зал, и сцена были заполнены ярким светом, и страсти на сцене отражались на лице Кати. Это был пик переживаний жизни, словно этот миг и есть смысл существования, что бы ни случилось позже. Самое мощное воздействие – это потрясти все существо человека. Это может только лицезрение любви и смерти. А здесь – игра, которая потрясает, пока не вышел за стены театра. Неужели жизнь и есть только это? Театр – это отвлечение чужой болью от своей трудной жизни.

Я редко хожу в театры, и спектакль поразил меня наглядной яркостью формы. Давно уже не верю в вымысел, где «слезами оболуюсь», что театр дает возможность вырваться из застоя существования, увести в иные увлекательные или трагические возможности, наконец, полюбить той любовью юности, которая потеряна в тяготах быта.

Мне было завидно, режиссеры могут спрятаться за тонких актеров и писанных красавиц актрис, действовать на зрите-

ля многими живыми личностями, а писателю спрятаться не за что, приходится отдаваться самому, завораживать только своим воображением, жаром собственного сердца.

Надо вживаться в свои персонажи, как актеры, – думал я. – До глубины себя. Мир фантастичен, в нем нет моей сложившейся определенности, незагадочности, потому что я в застывшем времени.

Когда мы вышли, на площади перед театром была большая толпа. Посреди толпы дрожала маленькая собачка, очевидно, брошенная. Она взглядывала, не видя, на всех, в беззащитной позе жертвы.

– Дорогая, шотландский терьер, – сказала полная дама. – Наверно, потерялась.

– Жаль, что моя померла, и пока не могу взять другую, – всхлипнула вторая дама.

Узнаваемый ведущий телеканала в дорогом костюме оглянулся на всех.

– Жаль, что и я не могу позволить.

Видимо, все ждали, что кто-нибудь не совладеет с собой. Как водится в большой толпе, совесть у всех была распределена поровну, и чем меньше толпа, тем больше скребет совесть.

Все было predetermined. Я с неудовольствием увидел лицо моей подруги – было видно, что она первая жертва. Предчувствовал, сколько трудностей создаст собака, как ребенок, в нашей уютной любви. Дело не в том, что собака бу-

дет дисциплинировать наши будни, а том, что она перетянет часть ее любви и заботы на себя, разделит нас.

Толпа поредела, и моя Катя вдруг взяла собачку на руки. Лицо ее было, как будто взяла ребенка, которого давно ждала.

Толпа с успокоенной совестью быстро рассеялась.

Мы взяли такси, и приехали домой.

Дома она с таким же умилением осторожно обнимала, держа в руках, еще дрожащую собачку, покормила купленным собачьим кормом.

Когда легли спать, Норуша (так мы ее называли по имени умершей прежней собачки) улеглась в ногах, и рычала, как только я приближался к кровати.

На следующий день мы купили Норуше собачью сбрую с ошейником.

Но это было не все. Обостренная совесть не позволяла Кате успокоиться. Она для очистки совести дала объявление в «Вотсапе», не потерялся ли у кого йоркширский терьер?

Сразу откликнулась какая-то семья полицейского. Упустившего собаку И нам пришлось отдать ее. Дочка той семьи крепко ухватила за свою собаку, радостно лижущую ее лицо, и спрятала за пазуху.

Потом Катя долго еще молчала в своей кровати, не отзываясь на мои уговоры поесть.

Может быть, она плакала потому, что у нас нет детей.

Ежедневно часами она разговаривала по телефону с по-

другами, еще из института, тревожась о их здоровье. Выспрашивала у всегда жалующейся на недомогания тети Марины, сестры умершей матери, все нюансы ее болезни, и та беспрекословно принимала ее советы (Катя была докой в лекарствах, оттачивала свои медицинские познания на практике – на мне и всех, кто попадался). И к ней обращались кому ни лень, как к своему доктору.

6

А за пределами моих устремлений вершилась жизнь.

Я стал работать в одной из общественных организаций, которую сразу при создании объявили международным общественным объединением. Тщеславие или способ выжить в конкуренции требовали называть организации межрегиональными, всенародными, переименовывать институты в университеты и академии, школы в европейские и специализированные.

В Совет объединения вошли люди с неопределившимися идеями, как у меня. Бывшие депутаты, политологи, руководители независимых партий и общественных организаций, – все те, кого отвергла официальная власть. Мне показалось, что тут не очень чисто, потому что тусовка, учреждавшая наше объединение, вынуждена была думать единым коллективом.

У нас толкалось много народу, хитрые и отчаянные, из разных союзов, фирм, кооперативов, даже из южных народностей, привычных к взяточничеству в виде гостеприимства. Сразу начались споры с агрессивными напористыми членами Совета, которые хотели стать директорами отделений, центров, издательства.

Меня закрутила необходимость вынужденной работы, хо-

тя было желание находиться в гуще торжества общественных форумов. И будничные дни шли мимо того дрожащего зайчика света, в котором только и есть исцеление. Несмотря на разнообразные события и попытки что-то найти в книгах, до подлинно исцеляющего смысла было далеко.

Я писал проекты постановлений и решений Совета общественного объединения. По всей стране стали приходиться просьбы от местных общественных организаций стать отделениями.

К нам приходили плохо одетые люди с идеями, в которых ощущался легкий оттенок безумия. Я был удивлен, что не один такой особенный.

Рыхлый человечек с непримиримым взглядом навсегда обиженного прибыл с проектом возвращения этики и прав человека в государственное управление.

– Исключили гуманистическое содержание! – зло кричал он на нас. – Задавлены науки гуманистического содержания! Вытравили ориентацию на индивидуальные способности детей и взрослых!

Христообразный армянин философ, два года без работы, развернул целый проект международного парламента («сделал открытие!»).

Доктор технических наук из развалившегося института пришел с предложением изготавливать экологические энергоносители для применения на пастбищах, вместо загрязняющих дизельных установок.

Студент заика скороговоркой предложил организовать конкурс на экологические технологии для сельского хозяйства.

Моряк из Калининграда зачитал петицию: выливают топливо в Балтику, невозможно терпеть!

Какой-то кооператив явился с замечательным устройством, делающим автомобиль экологически чистым, превосходящим электромобиль Илона Маска.

Немолодой фрилансер принес прибор для определения загрязнений воды.

Еще некий докторант Крузе предложил организовать центр экологической помощи.

Пришла даже дама с проектом конкурса на детский экологический рисунок.

Впрочем, я был рад встречам с такими людьми, они мне нравились. В них была возможность чистоты отношений, общность творчества. Что-то от меня: несмиренность и романтический замах на неосуществимое. Особенно понравились инвалиды, кормящие беспризорных собак. Они просили помочь связаться с магазинами и предприятиями, чтобы поставляли корм для собак, они варили еду у себя дома. Хотя их лица ничего из себя не выражали, но словно светились изнутри святостью.

Я влезал в разнообразные дела, разные мелочи по выпуску плакатов, календариков, заключал договора. Встретился с заросшим бородой художником Бурковским в его мастер-

ской, с которым заключил договор на создание эмблемы нашего объединения.

Вскоре, из-за старательности новичка, взвалил на себя всю техническую работу. В междоусобной борьбе верхов нашей общественности я неизменно оставался их тягловой силой – исполнительным директором. Они свалили на мои плечи всю черную работу, пока красовались перед властью, на телевидении и средствах массовой информации.

Так не по своей воле стал руководителем. Власть свалилась на меня из-за неумения верхов работать, уничтожавших в борьбе за власть самих себя. Как говорят, революция пожирает сама себя, и победителями приходят негодяи.

Но я не был захватчиком власти. Само руководство чем-то глубоко противно моей натуре – надо было тянуть воз общественной организации, ставшей известным общественным движением, зарабатывать на хлеб, обеспечивая неумелых работников зарплатой.

В сущности, на работе я хотел решить тот же вопрос: для чего все это? Почему занимаюсь не тем, что хочу? А что хочу? У меня была та же идея творчества, что и в институте. Хотел внутренней честности и чистоты в целях организации.

Мои сотрудники, по-моему, были такие, как и я, чем-то интересовались, но не нашей работой. Одним мы отличались: я хотел из скучной обузы создать нечто творческое, захватывающее душу. Они, живущие своей жизнью, не выка-

зывали никакой жалости к моим мучениям постоянно искать инвесторов, вытаскивать машину разросшейся организации из болота тянущих в разные стороны идей в другую, необычную реальность. И только злились на этого озабоченного аскета.

Наше общественное объединение, вернее я, назойливыми понуканиями сотрудников дирекции и убеждением организовывал выставки натуральной продукции предприятий – наших участников, конференции и форумы на разнообразные темы, от кризисов переходного периода до мистических идей Блаватской. Это был какой-то выход для моей жажды знаний.

Мы нанимали для этого залы заседаний разных учреждений, и просто площадки огромных пустых заводских цехов.

Приглашались ранее признанные авторитеты, а ныне ищущие, где бы засветиться лишний раз, чтобы не забыли. Известные раньше писатели, новые политологи высказывали разные точки зрения о нынешней ситуации в стране и мире.

На этот раз провели форум на тему «Понуждение насилем и естественные процессы» в заводском цеху.

Мы все почтительно кружились вокруг худого скромного старика с несмелым голосом, – общепризнанной когда-то, а ныне опальной «совести нации». В его лице с морщинками проглядывала красота благородных черт. Самое замечательное было то, что он глубоко понимал роль личности в обще-

стве, и суть творчества. Только с ним я мог говорить о постороннем – внутренних переживаниях творчества.

«Совесть нации» тихим голосом говорил, что мы не изменились, лишь перелицевали старые догмы. Неуважение к другим. Потеря достоинства. Отсутствие исторического сознания и цивилизованного способа общения. Злобу сублимируем в лицах, сбрасывая Ивашку с наката, как у Щедрина. Сама способность доброжелательного внимания у нас утрачена. Идея справедливости понимается узко, как система распределения благ и ликвидация привилегий, а идея демократии – как право свалить власть.

– Политизация общества без культуризации и усвоения правового сознания, – это кулачное право, митинговые крики, – словно извиняясь, говорил он. – Спасительно одно: профессионализм в своем деле, что только и дает ощущение достоинства.

Политолог с липкими непричесанными патлами на лбу бросался на трибуну с ненавидящим взглядом убежденного деятеля.

– Нужно вернуться к «константам» – родине, патриотизму! – кричал он могучим балкам в вышине потолка. – Новая культура превращена в отстойник. Молодежь зачумлена. За сто лет лишились элиты в русском народе. А вот мусульманские народы не оторвались от истоков фундаментализма. Крапивное семя уйдет, но оставит кровавый след. Пока, после страшного рабства, нельзя давать народу полную свобо-

ду дикому народу. Безмолвствующее большинство не может высказываться само, забитое политиками. Ему важна деловая организованность госаппарата.

Толстый либерал, наоборот, призвал ускорить развал «константы», вернуться к европейским ценностям. Соблазн коммунизма снимал социальный страх с человека, мечта о равенстве оборачивается новым рабством.

«Умеренный» политолог доказывал:

– Интеллигенция переоценила народ. Темную невежественную массу приняла за зрелых и развитых людей. Охлократию приняла за демократию. Это происходит во всем мире.

В таком состоянии общества, – рокотал он под сводами огромного цеха, – драйверы перестают работать, и вся надежда на национальные элиты, способные оценить ситуацию и найти пути дальнейшего развития. В мире торжествует теория конвергенции. Выигрывают те страны, которые выбирают лучшее и от того, и от другого. Все зависит от национальных элит и конкретного этапа развития. Южная Корея пыталась при одном диктаторе копировать Запад, и провалилась. При другом диктаторе учли национальные традиции и достигли уникального взлета. Перешли к демократии – все затормозилось. В Китае, который был в глубоком упадке, начали с возвращения предпринимательского слоя, а «гласность» отложили до иных времен. В России начали реформы с гласности и разгрома государства.

Вмешался непричесанный политолог:

– Оппозиционеры, – кричал он под странный шумок в огромном цеху, – получают известность за свои «подвиги» почти даром. То есть, не за счет попытки внутреннего духовного развития, а из-за тупых бросков на амбразуру и показательных страданий жертвы. Что легче, чем изменить что-то в душе.

На него шикали, в шуме цеха слышались редкие хлопки аплодисментов. Меня это почему-то задело.

– Настоящими рабами стали твердокаменные оппозиционеры, окопавшиеся за границей, их погубила психология противостояния, политической конъюнктуры. Мещане и то сумели остаться людьми, с их свободным внутренним миром, как бы мелок он ни был. Эта реальность повседневного существования недоступна борцам. Великие поэты выходили из мещан.

Его освистали.

Бывший «совесть народа» в заключительном слове мягко упрекал ораторов. Достоевский понял, стоя на эшафоте: все революции ничего не стоят. Победа ли, поражение – приводят к эшафоту или тех, или других. Нетерпение в отношении к жизни есть форма неуважения к ней. Революция требует неукорененных людей. Все великие романы – романы покаяния от соблазна революции. Правда, Евгений в «Медном всаднике» бежал, и в этом было хоть какое-то действие. А сейчас наш человек сидит в кресле перед брадобреем, про-

вода добровольный эксперимент.

– Культура, как писал философ Мераб Мамардашвили, – это усилие и одновременно умение практиковать сложность и разнообразие жизни. Человек – это постоянное усилие стать человеком, состояние не естественное, а творящееся непрерывно.

Его слова отвечали моим самым сокровенным мыслям.

«Совесть нации» недолго слушал перехлесты в убеждениях членов нашего движения, и тихо ушел. Он скоро перестал к нам заходить, что-то ему не понравилось.

Мы с Катей были совсем разные, но это не мешало.

– Нам с тобой не о чем разговаривать, – говорил я, сидя с ней на кухне.

– Нет, мы просто молча понимаем друг друга. Под молчанием есть какая-то глубина. Просто выразить не можем.

Я смеялся:

– Какие могут быть разговоры при слиянии душ? Да, наши души где-то не здесь, они вместе в каком-то заливе любви. Там не надо слов.

Правда, и слияние душ начинает надоедать. Кроме, конечно, слияния тел, это не надоедает никогда. Испытывая миг наслаждения сексом, я невольно думал: а не прав ли маркиз де Сад, считая наслаждение целью человека? И почему люди накладывают табу на это?

Чтобы был диалог, нужно отделиться друг от друга, тогда становится видна разница в мировоззрениях – предтеча охлаждения друг к другу. И это нам вскоре представилось.

Наша жизнь с Катей стала представлять собой горячее сплетение борьбы противоположностей, высекающей искры страсти и непримиримых споров. Может быть, это и есть жизнь всех семей?

Мы смертельно обижались, если кто-то из нас проявлял невнимание. Я ревновал жену, если по утрам она забывала зайти ко мне в комнату узнать, сплю ли я или уже помер, или была холодна к моим объятиям.

Мы искали следы нелюбви друг в друге, какую-то нечестность в отношениях, и было облегчение, когда находили.

– Я так и знала! – торжествовала она.

– И я всегда предчувствовал, – вторил я.

– Ты меня не любишь, – открывала она истину.

– Это ты меня не любишь! – негодовал я.

Может быть, это опасение оказаться в горечи одиночества, напрасно прожитой жизни?

– Почему не целуешь? Не обнимаешь?

– Женщины любят духовно, – смеялась она. – Ушами.

– А мужчины – руками!

И кидался к ней.

– Почему так грубо хватаешь? Нет, чтобы нежно погладить по голове.

Я целовал ее ухоженные волосы.

– Видишь, целую тебя везде.

Она уставилась на меня.

– Тебе нужно от меня только одно.

Я воздерживался насильно ложиться с ней в постель. Может, действительно мне нужен только секс? А забота о любимой – вне моего интереса? И меня впрямь влечет только идиотское желание влиться в женщину, с ее широкими бед-

рами, чтобы выносить ребенка, с нежной грудью, пусть и не такой высокой, но той, что была в ее молодости, с ее обнаженными нежными бедрами выше колен, которых я бережно касался.

Природа придумала сексуальное наслаждение, чтобы неустанно продлевать человеческий род. Но зачем ей нужно развивать личность, мозги для познания себя? Зачем это лишнее усложнение жизни?

Человек всегда одинок, не может исцелиться даже в любви.

– Это не любовь, – упрямо продолжала она. – Просто ты боишься, что без меня пропадешь.

Я воображал, что после ухода тебя буду бродить один по комнатам, где сохраняется твой дух, и пытаться жить, кормиться, глотать те пилюли, что словно подставляешь мне ты? Это было невыносимо.

Она моя единственная семья, но всегда была отдельной, такой вот всегда далекой. Наверно, могла изменить, и это бесило, не мог до конца обладать ею. Хотя вот она, рядом, родная. Оттого такая боль возможного отторжения.

Казалось, испытывал ревность, какую-то общую мужскую ревность, независимо от конкретной женщины. Что такое ревность? «Беспокойное устремление к тирании, перенесенное в сферу любви, – как был уверен Марсель Пруст? – «Счастье благотворно для тела, но только горе развивает способ-

ности духа».

Я перестал метаться в разные стороны, понял, что заканчивать жизнь придется только с одной. Может быть, это какие-то объективные ограничения возможностей при старении, обрезавшие желания что-то искать на стороне.

Жена торжествовала с удовлетворением:

– Понял, что никому больше не нужен.

8

Катя часами трепалась по телефону. Я почему-то нервничал, наконец спрашивал:

– О чем так долго?

Она долго опоминалась, потом удивлялась:

– Ни о чем. Не вспомню даже.

Это был ежедневный ритуал потребности близости с родственными людьми. У нее в роду осталась одна тетя Марина. Катя всегда была среди людей, подруг, их родственников – дядей, тетей, двоюродных и троюродных сестер, близких и дальних. И завидовала самой близкой подруге, – та была единственной дочкой у папы и мамы, которые умерли в суровые годы, и сумела разветвить род: родила и одна воспитала дочь (отец сбежал), а та вышла замуж и тоже родила дочку, – и все они образовали целое родовое гнездо.

А я был приезжим, оставшимся после института в этом городе. И в сущности жил интересами жены и окружавших людей.

Но она становилась чужой, когда я, лежа на диване, торчал перед телевизором, сладострастно, по ее мнению, смотрел «обнаженку».

Официальное телевидение показывало ток-шоу: «Только у нас говорят свободно!», «Вжарь, Андрей!», «Наедине со

всеми», «Правда, только правда на полиграфе!» Там «раздевали» классиков, попсовых знаменитостей, и простой народ, – они, оказывается, занимались харассментом и пьянством, избивали жен, выбрасывали младенцев из окна. Показывали счастливо красовавшихся на экране несовершеннолетних девиц, рассказывающих, как их насиловали, наивно выкладывая в своем блоге «онлайн». Как отдавали детей в детский дом, и через тридцать лет телевидение показывало встречу виноватых спившихся родителей с взрослыми красавцами детьми, ищущими свои корни...

Классики не могли дать сдачи, а остальные оправдывались или тупо молчали перед любопытством праведно выглядящих ведущих.

Это то, к чему всегда хотел приобщиться простой человек – к своему кусочку славы, узнавания его всем народом, и к тому богатому и лучезарному миру, в котором он никогда не жил, а только мечтал в прекрасных снах. Всегда безвестный, как миллиарды ушедших в могилу, не оставивши следа в истории. Что такое это желание подставиться под софиты бессмертия? Может быть, это страх остаться одинокими?

Нам страшна впустую прожитая жизнь. То есть, в стороне от общего интереса, без любви, делающей жизнь бесконечной. Это разновидность страха перед одиночеством, не только без родных, но и без людей вообще. Забвение – это убийство человека. Вот отчего люди стремятся хотя бы к маленькому кусочку славы.

Я же изо всех сил старался увидеть в кричащих друг на друга с мордобитием в эфире представителей населения глубинные смыслы бытования народа. Надеялся набрести на сюжет, единственный, который поможет выразить себя.

Хотя это могло быть и моим неизжитым пристрастием к обнажению в моих текстах, или просто сладострастным удовольствием. Я с моим натурализмом тоже вполне мог бы стать «обнажальщиком».

Но жена Катя просто ненавидела перетряхивание грязных простыней перед всем светом на каналах, игнорируемых интеллигенцией, не умея взглянуть на это со стороны. Наверно, у себя в клинике насмотрелась страданий больных, так, что не желала видеть это еще где-либо. Ей был чужд такой анализ грязи. Считала, что муж-провинциал любит подглядывать в замочную скважину на семьи, ссорящиеся и делающие друг другу пакости.

Она не терпела новые постмодернистские веяния. Не понимала, что это смена эпох, где «обнаженка» уже господствует, только и способная щекотать нервы уставшему, отчего-то теряющему энергию народу, и будет преобладать с переходом на квантовое информационное будущее.

– Это же твой народ! – возмутился я.

– Это не мой народ! – отрезала она.

Я считал, что нельзя отворачиваться от трагического фарса жизни, видел, вопреки консерваторам, как через мири-

ады живших и живущих человеческих существ высвечивается движущийся живой гребень настоящего, и из живого мгновения уходит в неведомое впереди.

– Писатель, а тратишь время на ящик, – язвила жена.

– А что такое «зря»? Что полезно, дает чувство полноты?

Работа в офисе, чтение, хождение в лесу?

– Выпей витамин.

Я смягчался.

– Вот сейчас вижу – ты меня любишь!

Она не считала серьезными ни мою общественную организацию с ее целями соединить чистоту действий и экономику, ни мои литературные изыскания.

Сталкиваясь с ней в коридоре или на кухне, я нарочито шарахался.

– Я тебя боюсь.

Она тоже мимоходом отшатывалась.

– И я тебя боюсь.

Катя досаждала мне своим субъективным отношением к миру. Воспринимала человеческие страдания, несправедливость слишком горячо, чтобы судить объективно. Читая по айфону в «твиттере» информацию о нашей действительности, она негодовала, язвительно глядя на меня:

– Какое убожество! В Якутии травят художницу, что она изобразила аборигенов в меховых малахаях обнимающих и целующих друг друга!

– Безумие! – возмутился я ей в лицо. – В тридцать седьмом году клекотали: кругом враги! Еще тогда народу вбили эту идеологию – она стала инстинктом, которую и сейчас не вырвешь. Боль, ужас вкупе с нищенством – переломили народ. Стокгольмский синдром.

Мы в негодовании смотрели друг на друга.

Я уже не мог жить бесцельно, как гуляющие в парке старички с посохами. Мне нужна хотя бы простенькая цель – сбегать в книжный магазин, чтобы купить новую книгу любимого писателя, или в магазин с бумажкой жены, что купить.

Главная цель стала литература. Я мечтал зарабатывать на

ней. Написал повестушку в виде писем героя – из жизни, о распрях на работе, в том числе в семье и у родственников.

Никто, кроме родных, не знал, что я изобразил картинки из личной жизни. Не хотел, но получилось с натуры, описал в точности как было, не пожалел никого, чтобы узнавали, и кое кого из моих недоброжелателей презирали, только изменил имена. Конечно, не так, как в украинском сайте «Миротворец», где публикация имен и адресов прямо наводила бандитов на квартиры для разборки.

Короче, текст был натуралистическим описанием, не преобразенным метафорой, которая освещала бы не привычную мне реальность.

Жена смотрела на меня странным взглядом. Она молчала, и здесь было недоумение, и даже отчуждение.

– Ты оболгал нас!

Я горделиво знал, что все жены, с кем будущие писатели начинают жить в нищей молодости, не признают в них писателей, даже получивших признание, не то, что те, кто выскакивает за именитых авторов.

– Ты прочитала буквально. Не заметила, что это воплощенные идеи.

– Какой еще идеи?

– Идеи тоски по иной жизни, в одиночестве среди серых будней. Я изобразил, как есть, правдиво.

– Чушь! – фыркнула она и замкнула уста.

Я оправдывал себя:

– А как быть с Левитаном? Чехова тоже обвиняли, что он в «Попрыгунье» оболгал его друга – художника Левитана и его любовницу художницу Кувшинникову. И чуть не дошло до дуэли. А Лесков, изобразивший жену...

– А наш с тобой интим... Зачем?

– У всех интим одинаковый! – разозлился я. – Это типично. Ты, вернее героиня там изображена положительной, хотя и реалистично.

Она вздохнула.

– Надо любить. То есть помогать – руками! – близким. Хотя бы лекарства принимать.

– А разве я не пытаюсь действовать? Путем п... писания того, что, может быть, необходимо людям?

Хотел сказать, что действие – это и отстаивание своей позиции, а тут я упрям. Но промолчал.

– Но для этого надо быть талантом.

– Ты не хочешь знать мой внутренний мир?

Она смотрела с недоумением.

– Я и так знаю тебя, ка облупленного.

– Ты меня не понимаешь. Никогда не любила.

Она суровела.

– В том то и дело, что почему-то люблю.

– За что любить такое ничтожество? – оглушенно спросил я.

– Не знаю. Но не люблю в тебе дурачества. Удивительно, как ты сохранил в себе детство! Мальчишка! Ради красного

слова не пожалеешь ни мать, ни отца. Никак не повзрослеешь. Хочешь прославиться на наших костях.

– Я хочу понять что-то... А ты – лишь бы напечатался.

Я поверил ее словам, вернее, тону. Для нее любовь не требует слов. Я для нее – лицемер, вместо настоящего участия мусолящий слова. Любви претит любое лицедейство по отношению к ней.

Оставалось нехорошее жжение униженности. Как мы можем любить друг друга, совершенно чужие по духу? Нет, дело в другом. Привык считать, что я умнее, – гораздо больше читал, думал, искал. А она только переживала за других, и в этом вся ее жизнь. Но все равно жгло унижение. И это останется, наверно, на всю жизнь.

И ее шумные подруги, прочитавшие мою повестушку, на встречах у нас в дни рождения и просто так, почему-то замолкали при виде меня, мне показалось, смотрели с недоумением.

Может быть, я принимаю жажду любить за любовь к конкретной женщине? Нет, это не так. Я люблю и не могу без нее.

Говорят и поют о любви, единственной, в чем смысл жизни. А повсюду происходит кровавое разделение. Наверно, любовь – не самая ценная сторона жизни человека. Есть еще что-то более важное, за что дерутся. Любовь ничего не дает развитию истории.

Или это я недолюбливаю?

Я разжигал себя. Равнодушное фотографическое видение – это глухота сознания, из-за ограниченного кругозора, за которым не видно глубины и безграничности мира. Жизнь – это борьба с натурализмом зрения. Один футуролог сказал: «Большинство людей плохо себя знает. Это и есть невежество человечества».

С точки зрения психиатра – все мы безумны. Вспомнить хотя бы паранойю тридцатых годов сталинского террора, не без участия народа, самовредительство, готовность жертвовать собой, бред величия, шизофрению раздвоения личности, патологию приподнятого настроения. И я, в своей слепоте, может быть, безумен. Шизофреник, помешанный на страхе кануть в небытие в космическом одиночестве, не став известным среди потомков. Может быть, желание славы – из страха космического одиночества?

Мироощущение человека – это история внушений. Мир устроен так, как мне внушили. Но история – совмещение внушений. Предопределена ли она? Или есть рост объективной истины в потоке внушений?

Я пытался разъяснить Кате мои внутренние влечения.

– Понимаешь? Я хочу узнать, кто я такой? Зачем это все?

Вообрази тот неоткрытый мир, куда необъяснимо почему стремлюсь, чтобы излечиться от страшного одиночества. И не могу. Нет, это касается не тебя... Это как океан детства, когда стоял на утесе...

Хотел добавить: не могу выйти за пределы, туда, где фантом человека рождается из первого взрыва. Но воздержался.

Она едва слушала, словно болтаю чепуху. Недолголюбивала философствующих.

– Зачем тебе все это?

– Не знаю. Такой родился. А писанина – для меня лишь повод.

– Ну и пиши. Только незаметно для меня.

– Я и так урывками, по ночам.

– Ты должен помогать людям. Тогда узнаешь, кто ты на самом деле.

– Наконец, у нас установились нормальные отношения.

– Реальные, – поправила она.

Разговаривать не было смысла.

Униженный, я долго не мог заснуть.

Когда авторы пишут, вдруг спотыкаются: слова застревают в стыках, как у Л. Толстого, не знавшего, как изобразить Анну, входящую в дом Облонских, пока он не нашел выход, поставив ее перед зеркалом в прихожей. Или «затыки» у Чехова, когда доходил до середины повествования.

А во мне был сплошной «затык». Как оживить объект, сделать его живым и трепетным, уходя в вольную оцупь метафоры?

И не мог уйти от плоских тупых фотографий реальности, туда, где, как писал Гоголь, громоздятся т и п ы людей и целых эпох, которые двигают громадой истории. И оттуда выглядели мелко и ничтожно мои переживания настоящего, одиночество в отчужденном мире, романтические взлеты туда, в пустынное исцеление, где жизни нет.

Мое графоманство, аскетизм трудоголика, прячущегося от непонятной реальности, неудачи на работе, – все это было до встречи с ней, диковинной птицей, с ее прямоотой и честностью. А сейчас появились настоящие слова, когда стал дорожить чем-то. Я осознал, что могу любить.

Когда я стал писать *для нее*, чтобы доказать что-то ей и оправдать себя, сразу все перевернулось в моем мышлении. Все прежние мысли оказались беспомощным барахтаньем в самом себе. Нужно было находить что-то подлинное, чтобы убедить ее. Перед глазами вставало что-то огромное, непо-

сильное, настоящая жизнь в среде людей.

С того времени я начал бороться с натурализмом в моем сознании. Это означало уйти из душевной пустоты, в которой не чувствую друзей и врагов. Улавливать дух народа – это чувствовать, что ему надоело, осточертело, и то, что кажется ему стабильным, на что можно твердо опереться.

Выскочить за корявую изгородь обыденности, это значит мучительно расширять кругозор, включая ощущение истории, искусства и литературы мира. Такой поиск проясняет незначительность наших мелочных чувств и переживаний внутри изгороди, правда, мучительно медленно. Медленно и долго, и никогда не закончится, как путь Сизифа в бесконечно высокую гору познания.

Я узко понимал судьбу, мироощущение, как взгляд в некие глубины, не зависящие от меня. А она – во всей биографии, во всем прожитом человеком, чтобы в конце встретить то, что всегда ожидал – смерть.

Может быть, я боюсь настоящих поступков, дойти до конца?

Поднимались вихри мыслей-догадок, скрепляющих остов еще неясной книги.

«Не одиночество, а любовь и печаль, что настанет миг, и не станет всего дорогого. Вот тон моей судьбы».

Я откалывал застывший пластик времени – и под ним оживала моя боль и надежда. Боги вдохновения поселялись в каждой вещи на столе, в книгах, в слепящем окне, в голубом

небе. Во мне вздымалась вся жизненная сила, данная природой, в виде колышущихся трав-народов на утесе у бездны океана, в виде превращений космоса за спокойными огоньками звезд. И тогда появлялись фразы, в которых, мне казалось, умещался весь смысл мироздания.

*Да мыслимо ли исправлять миры?
Какая мука у звезды сверхновой,
Когда поля вопят, летя во взрыв,
Чтоб стихнуть в бездне пылью одинокой.*

Эти записи-заклинания были некоей силой намерения, двигающей мысль, а не только простым размышлением. Они таили скрытые догадки, и давали направление всей моей жизни. По ночам записывал их в дневнике, чтобы вызвать то чувство, как в детстве на утесе.

Если правильно мыслить, то сила намерения идет верным путем. Эта сила намерения, двигающая мысль, свойственна всем людям. Эту силу можно развить, визуализировать, увидеть, как она течет. Это некая неравновесность, заставляющая двигаться, словно чего-то недостает.

Ночами, засыпая, мысленно спорил с женой, желая доказать, что это помимо моей воли, и не могу отказаться.

«Не идет, потому что смотрю на внешнюю жизнь, а не на

шекспировскую судьбу жестоких или вялых характеров сумрачного мира, в которых их, моя судьба – центр», – записывал, спросонья хватая дневник. И говорил ей, где-то рядом:

– Как будто в мозгу есть то и то, но охоты нет переключаться. Вернее, неопытность.

– Не идет, потому что не любишь, – всплывала моя жена, неумолимо вбивая в голову гвозди отповедей. – Когда любишь, не надо никаких подпорок, тогда будешь писать легко.

– Но в творчестве это не так просто!

– Ты ищешь спасения в иллюзии. В абстрактной мысли. Поверни в реальную жизнь. Пожалей людей по-настоящему, помогай практически.

– Что я могу? Зажечь словом – и то не умею. Мне нужно раздвинуть фразу, вместить в нее всю судьбу – меня, истории. Чтобы персонаж стал мигом космического движения.

– Ха-ха! Не можешь просто жить, по-настоящему.

«В сознании, тексте должны носиться только метафоры реальности-судьбы, открытые простору вселенной».

– Опять твои завихрения! – раздражалась жена.

«Люди внешне – как я, уходят в некие близости коллективные, но внутри все одинаково отчуждены, и не подозревают, что другие похожи. Отделяют только позиции, смыслы».

– Попал пальцем в небо! Это известно всем, кроме тебя.

Так что же такое любовь? Действие участием? Я не осознавал, что люблю.

И что такое творчество? Удаленное действие – внушением любви? Значит, огнедышащее слово – тоже любовь?

Я запутался.

– Творить может только душа, полная любви, – сурово ответствовала жена.

Значит, я не довел душу до степени *действия любовью*. И только на пути. Я ниже моей жены!

Я видел ее во сне, не выговаривающей обычные для женщины упреки, а некоей мудрой всезнающей матерью, оберегающей от дурных поступков.

Моим записям-заклинаниям чего-то не хватало. Как будто прятался на обочине мира и только перемалывал одно и то же. Думал, что это не пустые размышления, они таили скрытый ход мыслей, невероятную силу, направляющую всю мою жизнь.

И вскоре понял, что все мои записи исходят из обыденной точки зрения, шелуха.

Наше общественное движение переставало быть на слуху. И расходилось с денежными потоками, как и весь мой идеализм. Государство берет с общественных организаций, живущих на взносы их членов, налоги, почти до половины взносов, – как с бизнеса, получающего несопоставимые бабки. В Системе независимым общественным институтам невозможно выжить без государственного ресурса и поддержки. Ее добивались только нужные организации. Такие, как мы, ощущали постоянную угрозу нищенства, в ожидании государственной субсидии. Это заведомо вело к их вымиранию. Более того, наше движение почему-то не нравилось власти.

Система создает фильтры, отбирает определенный вид людей – исполнителей, с условием беспрекословного подчинения власти. Мы через эти фильтры почему-то не могли просочиться. Система переломила сознание народа, он потерял себя, и уже не может вырваться из нее. Люди думают, что замороженное состояние – извечно.

Но во мне не было обиды на Систему. Во всем виновата некомпетентность нас, интеллигентов, не умеющих выкрутиться.

Колочая деятельность государства проходила так, что на

нас, свободную общественность, она посматривала недовольно. Мы были в числе тех избыточно усложняющих жизнь в процессе эволюционного развития, кто вымывается и рушится при малейших кризисах. А тут как раз случился экономический кризис и пандемия, и наступало очередное упрощение представлений о жизни.

Мир держится на профессионалах, которые создают самое необходимое для выживания, без них невозможно выжить. Экономика родилась из необходимости человека содержать тело в сытости, и прятаться от хищников в закрытой пещере. Всегда остаются на плаву производители продовольствия, медицинского оборудования и лекарств. Хотя вокруг них всегда роятся, как мухи, те, кто кормит подделками.

Остальные (полиция, армия, вся надстройка), в том числе неумехи тут и там висят на профессионалах, творящих блага, пользуются их плодами, а иногда бросают в костры пророков, без которых нельзя идти вперед. Это не аморализм, а что-то бессмертное, так устроена история, в которой страдают все, в том числе и истинный, реальный труд для пропитания и обеспечения необходимых удобств, технологии, науки, прозрения мыслителей.

Утопическая направленность целей распространяется на все институты, учреждения, усложняющие жизнь. Полно фейковых организаций и институтов, все время искренне притворяющихся, что занимаются полезным делом, главным делом эпохи. Все это в воображении, а на самом деле у них

нет успехов. Да и есть ли они вообще?

Времена кризисов и пандемии не только помогают выяснить истинную картину происходящего. Мир вычищает усложняющих жизнь. Так случается с десятками тысяч интеллектуалов, ученых людей, фирм и организаций, возникших на зыбкой почве услуг, благотворительности, всего связанного с дальнесрочными результатами.

У меня была мужская интуиция, способность логистики, как у военачальника, ощущающего всем нутром и опытом дальнейшие действия его армии.

Но выходило поражение. В кризисе экономики, царстве жестокой необходимости должны были отпасть все безделушки, – излишества, которые я считал закономерным усложнением сущностей.

Слежавшаяся во мне тягота выживания стала устойчивой, застыла во времени. Ответственность без любви – тяжелая мертвая ноша. Стал болезненно воспринимать любую обязанность что-то готовить к сроку.

Уволил двух агрессивных бездельников, и думал, как вывести из Совета, отодрать от нашего общественного движения болтунов псевдоученых. Может быть, придется уйти самому. И было жуткое чувство развала организации.

Видел огромность и ответственность задачи – развития организации, и некому помочь. Непосильная ноша.

Описывать мою работу противно. Тяжелая ноша понукания малоподвижной массы к чему-то организованному. Сотрудницы – дамы надменно отказывались переносить даже легкие экспонаты для выставок, хотя проворно таскали для себя домой тяжести – образцы выставочных продуктов. Не видел в совместном труде чего-то, что взволновало бы и хотелось запечатлеть в слове.

В коридоре на диване сидел посланник от коллекторского агентства, поигрывая на пальце цепью-пилкой с острыми зубчиками. Ожидал большой грант, который мы должны были получить от правительства. Это взялся устроить влиятельный чиновник «решала», которого мы приняли за благодетеля. Правда, он объявил, что мы должны отдать ему 80% от гранта. Что-то должно было случиться, и самым легким выходом было отказаться от гранта.

Я ходил в хронически мрачном состоянии – внешне из-за того, что не видел вокруг никого, кто мог бы помочь, и приходилось везти воз самому, – так влез в хитросплетения дела, что и передать некому, никто не в курсе. Надо было найти компетентных и отвечающих за дело соратников – не найду, буду сам тянуть.

Да и дома – досада остановок в попытках самопознания, горький опыт неудач в попытках писать.

Философию, литературу пишут люди, свободные от бремени организованного труда, управления неповоротливыми массами, повседневных ухищрений улучшить, внедрить и т.

п. Они на свободе, в беседах друзей у камина. Там невозможно прекращение дружбы, например, из-за финансовых сделок.

Легко писать, и возноситься в идеи добра и справедливости – будучи в стороне. Презирать, сохраняя достоинство. Но что делать, когда ты не нашел такой точки приложения судьбы, а попал в страшные будни дела, где надо дисциплинировать, где интриги бездельников-эстетов, и надо умно лавировать. И надо тащить дело, а эффективности нет, и набивать шишки, продираясь вслепую, набирая опыт. А по вечерам мучительно отходить, возвращая себя в высоты духа. Чтобы завтра пасть снова.

Добро, любовь не бывают отвлеченными, нужен адрес. Мне кажется, человечество не имеет адреса, его имеет только конкретный человек. Идеи гуманизма – иллюзия. Всеобщего счастья нет. Всем – лучше не будет.

Что же делать дальше?

Мысль, что придется оставить выстраданную всей жизнью работу в общественном движении, подавляла меня, словно расставался с жизнью.

Это была не любовь к моей работе – засосало время, которой не нужно талантов – пробиться, выжить, вот что сделало меня аскетом, недоброжелательным к занятым собой сослуживцам. Это не относится к разряду любви, болезненная рана, которая не заживает, к ней притерпелся организм, и бы-

ло бы страшно уже ничего не делать, а только холить рану, как уволенному пенсионеру. Все мы, измотанные обязательствами и ответственностью, – аскеты, еще находимся внутри советского жертвенного времени. Отболевшие отзвуки прошлой злости на тех, кто безответственно взваливали на меня их ношу, еще шевелились во мне.

Это как при переломе эпохи, когда ломается прежний устойчивый быт.

И я с облегчением отделился от тяготы работы и вернулся в мой мир, в котором мог сносно существовать. Мир покоя, куда заваливался, чтобы отдохнуть душой.

Мне казалось, что у меня много общего с тетей Мариной, сестрой матери моей жены и по сути моей тещей. Она была единственным родным человеком после смерти матери.

Она была больна, наверно, от старости и выпавших на нее несчастий. Лежала на привычном тюфяке, в оставшейся от умершей свекрови однокомнатной квартире, и не хотелось вставать и выходить в чужую тяжкую жизнь.

У нее был муж, полковник ФСБ, всегда уверенный в себе, как будто когда-то принял окончательные решения и следовал им, как приказам. С ним было как за каменной стеной, хотя ей не нравилось, когда он приказным тоном, при знакомых, обрывал ее бесполезную болтовню. И он утомлял постоянными домогательствами в постели.

Все началось с того, когда муж стал пропадать допоздна, а потом и ночами. Вдруг позвонила какая-то баба и ядовито сказала:

– Что, ждешь? Ну, жди, жди, корова.

И бросила трубку.

Когда он пришел, его дубленка пахла чужими духами. Это она, разлучница, попрыскала на дубленку своими духами. Особенно отвратительно было на душе за его выбор пошлой бабы.

Я видел его, когда выходил из очередного торжественного пустого форума в колонном зале. Из другого зала выходил он, сухой, с прямым носом.

– Ты как здесь? – удивился он.

– На торжественном форуме. А вы?

– Тут рядом, на собрании Союза офицеров.

Разговаривать не хотелось, и он, изобразив радость, быстро удалился.

До ужасной раны от ухода мужа она была любима. И после операции по удалению матки была уверена, что невозможность сексуальной жизни не повлияет на преданность мужа. Но, видно, мужики устроены иначе. У женщины есть один порок – она мыслит не как мужчина.

А ведь было, было так чудесно! Они были в долгосрочной командировке в Америке, по линии какой-то секретной службы мужа. Вспоминала прием в посольстве, она, светская дама, с белым от природы ухоженным лицом, в бальном белом платье блистала в окружении восхищенных лиц иностранных посольских работников, пока ее муж чинно беседовал с деловыми людьми в сторонке. В то же время в ней было беспокойство от строгого контроля мужа, и одиночества среди этой одетой для приемов толпы, в который каждый, тоже в одиночестве, бродил с тонким бокалом в руке по огромному блестящему от света залу...

Она повернулась от невыносимой боли, вспомнив брошенную в телефон злобную фразу разлучницы. До сих пор сидит ножом в сердце.

У пенсионерки нет обязательств – с испугом вставать сонной, куда-то бежать. Спать, спать, спать!

Жена взволновано говорила:

– Тетка по телефону все время плачет.

Я не был равнодушен, но считал: каждый должен переносить свои горести и недомогания сам, не перекладывая на близких. Но все же меня пробивала жалость и понимание чужой беды.

У тетки Марины был явный свих. Ее заклинило на желании здоровья и красоты. Так сильно, что это превратилось в жажду испытать на себе все созданное медиками для исцеления и омоложения. Она прислушивалась к себе, и находила уязвимые места: в состоянии постоянного бессилия, запорах, в надвигающейся слепоте из-за катаракты, в тумане в голове, когда какая-то заслонка в мозгу мешает вспомнить привычное имя или слово, в несвежей коже лица, когда-то молочной белизны, поражающей мужчин. Яд пищи после еды пронизывал все тело, и начиналась слабость, боли в животе, – сказывалась фаст-фудовая тенденция современной пищевой цивилизации.

Тетке было так плохо, что она улетала в чудесные сны.

Вспоминала, как была счастлива. Побывала с любимым во многих странах. Плыла на белом пароходе, и с восхищением смотрела сбоку на любимого, с прямым носом полководца, и чувствовала себя, как в младенчестве, защищенной навсегда в добром мире. Впереди открывалась безгранично близкая даль, и за каждым поворотом открывалось чудесное, все новое и новое, и жизнь состояла из этой бесконечной новизны, полной загадок, и уходила назад за корму темная боль заскорузлой неподвижности болезни и старости. Там раскрывалась загадка времени человечества.

Это была мечта, превратившаяся в смысл жизни – о неутомимой юности, не чувствующей в себе никакой тяжести и недомогания, в чудо физической красоты. Для чего? А зачем люди стремятся к божественной красоте?

Ее ожидание чуда своего преображения во что-то невыразимо прекрасное уже перестало быть мезью покойному бывшему мужу, это стало чистой радостью, в которой она будет жить. А может быть, уже живет.

Жена прерывала мои мысли:

– Не мудри, она просто жить хочет.

Тетя Марина в очередной раз позвонила – поплакать Катю, но та ушла в магазин. Я не удержался, чтобы поговорить откровенно.

– Как здоровье?

Она обиделась, раздраженно бросила:

– Мне помирать пора.

Тетя никак не могла настроить себя на то, что она еще жива, и есть солнечный свет в окне, и есть где-то близкие, которые думают о ней, хотят, чтобы она была здорова. Нет, ее боли застилали все.

Она воображала себя обугленным столбом, и нет вокруг того родного, что облегчил бы ее одиночество. Зятю передалось ее отчаяние.

– Вон, больная соседка по даче ежедневно ходит в церковь, завела свой блог в интернете, где сочиняет молитвы об обретенном смысле жизни.

Она помолчала.

– Увы, я не верующая. Хотя чувствую, что есть у меня старенький ангел-хранитель, уже уставший от меня.

– Нельзя видеть только одну темную бездну. Есть близкие люди, они любят вас и тревожатся.

Она вздохнула.

– Они далеко.

Верила ли в доводы зятя? Знала, что и он не верит. Я вздохнул:

– Сколько в истории, за нами, могил! И ничего, мы живем, и дальше другие будут жить. Разве это не успокаивает?

– Нет, – сухо сказала она.

– Надо говорить спасибо Богу за то, что он дал.

Я чувствовал в моем голосе фальшь, и стало гнусно.

Есть ли что-то, что повернет ее (и меня) к полному зимнего солнца окну? Чтобы жить хотя бы этим одним солнечным днем?

Это могла быть память о той любви, в которой она могла бы оттаять и примириться со смертью. Наверно, это могла быть та любовь, что была у нее в юности. Не сравнимая ни с какой родственной связью. Такой смысл жизни недостижим.

Иногда она вырывалась из застоя беды в солнечный поток времени. Вспоминала молодость, свою любовь. Школьный бал, куда пригласили молодых офицеров выпускников. С ней танцевал серьезный, самостоятельный лейтенант, похожий на Вронского, и танец пролетел коротким счастьем влюбленности, потом замужества, и путешествий по странам, куда вела секретная служба мужа. Неужели память – это иллюзия? И почему так страшно ее потерять?

Пандемия не изменила упрямый мир. Но самоизоляция резко сузила круг общения, стали ненужными бывшие раньше ежедневные тусовки сослуживцев и приятелей с их поднадоевшими спорами и мелкими переживаниями. Общение с ними, всегда торчавшими рядом, стало совсем другим, сейчас обострились первоначальные скрытые привязанности, и тайное недоброжелательство обнаружило свою мелочность.

Наше общественное движение было в стагнации. Электронные издательства с готовностью размещали в интернете мои писания, и – никакого отклика читателей! Действительно, кому это нужно?

Я устал. Зачем столько надрыва на работе, бессмысленных ночей в накоплении ненужных знаний и попытках писать, если не смог сверкнуть лучом жгучего интереса или хотя бы любопытства в душах людей?

Жизнь сушит. Может быть, и мой пляшущий солнечный зайчик, который мелькал во мне с детства, стал исчезать в завалах будней? Нет, я знал, что есть дни, когда этот зайчик вспыхивает ярким светом вдохновения, и тогда, особенно ночью, возникают озарения, и становится ясным все вокруг. Когда я в озарении догадываюсь о сути мира – это са-

мое большое наслаждение, за что можно отдать жизнь.

Как-то перекачал в «читалку» книгу эзотерика Карлоса Кастанеды о мексиканском индейце – шамане и маге. До этого краем уха слышал об этом авторе и считал костистым мексиканцем. А это оказался интеллигентный профессор в очках. На меня пахнуло чем-то знакомым. Сколько книг знаю, чьи мысли дороги мне. А сколько тех, чьи мысли мне близки, и никогда не узнаю! Где-то в истории или моем времени мои мысли могут совпадать и повторяться с кем-то, моим современником или скрывшемся в волнах истории

У Карлоса Кастанеды эзотерика – прикрытие. На самом деле он описывает свой трудный путь к не обычной реальности, по сути, путь к творчеству. Постиг себя и свое творчество через реального шамана дона Хуана, исповедовавшего магию древней Мексики. Как похоже на мой путь к иному, через литературные упражнения!

«Сила зависит лишь от того, каким родом знания владеет человек. Какой смысл в знании вещей, которые бесполезны? Они не готовят нас к внезапной встрече с неизвестным. Ничто не дается даром в этом мире, и приобретение знания – труднейшая из всех задач, с какой может столкнуться человек!»

Никогда не думал, что я, такой исключительный, могу

встретить самого себя. Какое совпадение! Как же раньше я его не встретил? Понял, что мои мысли совпадают с его представлением о не обычном для человека мире. Я, как Карлос, копал в том же направлении, чтобы выйти за корявую прочную изгородь моего обыденного сознания.

Это было похоже на то, к чему стремился, постоянно бессонными ночами насыщаясь ненужными знаниями, выискивая крупинки потребного душе из настоящих книг, и таким образом распутывал собственное мироощущение, вглядываясь в темное пятно опыта своей судьбы: что там за ним?

– Нет, не совпадение со мной, – недовольно сказал бы автор, или сам индеец дон Хуан. – Это совпадение с рассказчиком Карлосом, заурядным составителем атласа трав и галлюциногенных грибов, которого заставляют идти к подлинному знанию. «Человек идет к знанию так же, как идет на войну, – полностью пробужденный, полный страха, благоговения и абсолютной смелости».

Мне как раз не хватает смелости заглянуть за привычные завалы представлений о себе как человеке времени, полном мужества заглянуть в душу, живущую шаблонами человеческого поведения. И нет точного представления о «личной жизни», которую индеец отрицал. Как это – не иметь личной жизни? Личности, которую я ценю больше всего!

«Слишком сильное сосредоточение на себе порождает ужасную усталость. Человек в такой позиции глух и слеп ко всему остальному. Эта странная усталость мешает ему ис-

кать и видеть чудеса, которые во множестве находятся вокруг него. И у него ничего не остается, кроме проблем». Как это верно! Одинок только тот, кто замкнут в своей скорлупе, не любимый никем.

Добавлю, это ощущение графомана. Когда-то начинал писать, но было гаденькое чувство – пишу ерунду. Видел и описывал факты, глядя как в бинокль, не задевая души. Непонятно, откуда представление у простака – описывать внешнюю жизнь, а не мысли о ней, не свои переживания? Наверно, от осознания своей мизерности, не считающей свой мирок чем-то ценным. У меня это так и было.

Дело не в отсутствии опыта, не в наработывании его действием, практикой, – опыта жизни у юного Мишеля Лермонтова не было, когда он написал: «В моей душе, как в океане, надежд разбитых груз лежит». А в глубине постижения «необычной реальности».

И я сошел с пьедестала непризнанного романтика, и начал копать в другом направлении. Здесь стал открывать настоящее: моя судьба оказалась судьбой человечества. Но это было самым неподъемным – все равно что осознать смысл самого бытия.

«Все пути одинаковы: они ведут в никуда. *Есть ли у этого пути сердце?* Если есть, то это хороший путь; если нет, от него никакого толку. Оба пути ведут в никуда, но у одного есть сердце, а у другого – нет. Один путь делает путеше-

ствие по нему радостным: сколько ни странствуешь – ты и твой путь нераздельны. Другой путь заставит тебя проклинать свою жизнь».

Как «путь сердца» у моего предка, пережившего самую страшную войну.

*В холодное небо бездомно смотрел —
Эпоха войны в нем темнела жестоко.
Он знал – надо жить, для неведомых дел,
Теплушкой продленья несомый к востоку.*

Нет, я не воин, хотя знаю о безвыходности пути, и имею сердце, – ищу лишь душевного исцеления, самостоятельно. Хотя знаю, что не найду, и всегда буду одинок. Познавать реальность, к которой обратился всерьез, – придется всегда, и никогда не познаешь. Это невозможно. Хотя в самой новизне есть исцеление путешественника.

Вот к чему я пришел! Значит, писать нет смысла?

В пути никогда не достигнешь города Солнца. Есть лишь путь истины, и по пути, выходя за изгородь обыденности, преодолеваешь такие препятствия, которые гораздо труднее, чем для воина, в его племени обретающего знание шамана.

Но истина всегда относительна! И можно писать, когда уверен, что открыл хотя бы относительную истину, соответствующую уровню знаний эпохи, и двигаться дальше.

Мне не надо волшебства, всего оккультного у шамана, са-

мо мое состояние, когда настраиваю себя, чтобы писать, уже волшебство. Я не пользовался галлюциногенами, а пытался напрямую «мозговым штурмом» пробиться в исцеляющее состояние судьбы. И вызывал это состояние некими заклинаниями, внезапно раскрывающими озарения, заноса их в дневник.

«Где органная мощь моей судьбы? В трагедии человека, стремящегося вырваться из мира, где не видят любви ни в себе, ни в других, толкают локтями под дых, и близких, и чужих? В не соединении сознаний друг с другом?»

«Неужели трагизм существования человечества – в его пути самоуничтожения, его темной судьбе, там, где гибридные войны, невозможность прояснить мозги, чтобы увидеть исцеляющую цель?»

А может, наоборот, записывал эти заклинания вслед за озарениями в мозгу. Это были мои подпорки для разжигания огнедышащего слова. Но не подпорки дона Хуана для получения знания, типа ощущения реальных демонов в ветре, в грозе, в лесном ветре и траве, которые опасно воздействуют на «воина» так же, как и «воин», обладающий их силой, влияет на демонов природы. Правда, мои подпорки были также средством, временными лесами вокруг истины, которые убираются, когда достигнешь цели.

Как-то я сидел ночью у моей библиотеки, измученный размышлениями и сонным усыпляющим светом ночника, прикорнул, с головой на письменном столе. Передо мной встал кто-то мудрый, спокойный и всезнающий. Я узнал в нем мага дона Хуана, с испещренным морщинами лицом мумии и хитрыми щелками глаз. На нем была поношенное пончо с колокольчиками и шапка-корона, фирменная одежда древнего мексиканского шамана.

– Ты хочешь стать воином? – хитро сощурился, спросил он.

– Не хочу, – сказал я, как старому знакомому. – Не хочу бороться, побеждать кого-то. Кроме себя.

– Чего же ты хочешь?

Я был погружен в безвольную немощь, в которой тускнеет внешний мир. А может быть, это от генов предков, нечувствительных к лишениям. И только изредка меня пронимает, когда чувствую одиночество. Думал о своей жизни, и все бывшие радости оказывались покрытыми безрадостной пеленой. И нахлынула печаль.

– Я как будто еду куда-то, ни к чему не привязан, болтаюсь над бездной.

Он тоже ответил, как старому знакомому.

– Зачем так говоришь? В тебе этого нет.

– Иногда прихожу к мысли: меньше знаешь – крепче спишь. Сейчас человек за один день получает столько же информации, сколько житель средневековья за всю свою жизнь. Сейчас на мозг давит лавина информации. Новая агрессивная ситуация. И вообще невозможно все знать.

Это было признание в минуту слабости. На самом деле обычно я так не думаю.

Дон Хуан громогласно захохотал.

– Ты не видишь ничего сверхъестественного, и потому твоя ясность глупа. На самом деле, в тебе сидит обыденное сознание времени, как нечто постоянное, отвердевшее и застывшее, а потому бессмертное. Совсем иное – у шамана. Время – это нечто схожее с мыслью, возникающей в мышлении чего-то такого, что непостижимо в своем величии. Сам человек – часть этой мысли, протекающей в непостижимых разуму силах.

– Ничего не понял.

– Древние египтяне чувствовали, что в высоте есть нечто грандиозное. Громадность – это величие. Это идет из древности: время и пространство простирались до звездного неба, когда выходили на охоту, выезжали за пределы изгороди на телегах, а потом летали на самолетах, глядя в иллюминатор на облака. Это всегда был путь в другие реальности.

Я понимал из прочитанного о нем, что он воздействует с помощью ритуала, способа получения целительной силы. Я был уверен, что смогу легко победить невежественного ша-

мана с высоты своего времени, которого не смог одолеть его ученик Карлос.

– Не могу согласиться, что к другой реальности надо тянуть силком, вталкивая туда путем обманок и ловушек. У меня есть моя собственная сила, влекущая туда.

– Да, в тебе есть твоя сила, но ты лишь тащишь свой камень, как Сизиф, который никогда не взойдет на вершину. Он не радуется бессмыслице своей работы, но у него есть своя гордость – отсутствует обольщение, и верен себе.

Странно, именно поэтому у меня возникало бессилие. Зачем человек ищет иное, желая организовать мир по-своему? Не объективную истину – ее нет! – вырывается из ограниченности в свободу и душевное исцеление.

Я чувствовал непостижимое состояние «необычной реальности». Ступил на путь добровольцем, только у меня не было живого Учителя, хотел приподнять за шкуру самого себя. Хотя, конечно, были ушедшие до меня учителя, союзники, по выражению мага, – русские классики, голоса которых звучат на страницах их книг. Вернее, они ничему меня не учили. Они воздействовали на нечто во мне, воспламеняли меня на какой-то исцеляющий душу путь. Но этот путь бесконечен.

– Вот потому я хочу взять тебя в ученики. Я мало встречал людей, желавших вырваться из обыденного сознания в необычную реальность. В тебе есть *сила*, то есть энергия, свободная от ограничений, чистая условная энергия. Так,

как она течет во вселенной.

– На что мне эта сила, если она бесплодна? Как вырваться за изгородь обыденного сознания? Только вашими подпорками, заклинаниями?

– Ну, ну. Нужны действия, а не умственные поиски не обычного мира. Систематическое изучение собственной жизни состоит не в позиции оценивания и поиска собственных ошибок, а – постичь свою жизнь и изменить ее ход.

– Не могу осмыслить реальность, увидеть глубину, вырваться из натуралистического взгляда. Находить метафоры смысла – в предмете. Они превращают легкую абстрактную мысль в тяжелую земную. Метафору самого человечества, которого влечет во что-то неизъяснимое в развитии вселенной, может быть, сверхразумное.

– Что ты подразумеваешь под метафорой?

– А вы?

– Умение сравнивать, а этому нельзя научиться, не обладая широким знанием. Знание позволяет сопоставлять вещи и события, возносит разум в молнии озарений, – туда, где душа найдет успокоение.

– Увы, во многом знании много печали.

– Посмотри на себя! Стоишь перед дверью, боясь выйти. Стремишься писать больше из самолюбия и стремления остаться в памяти твоего народа. Тогда не получается выговорить подлинное.

Меня покоробили эти слова, хотя я знал, что это отчасти

верно.

– Неправда! Это всего лишь сердечная тоска!

Дон Хуан рассердился.

– Почему мир должен быть таким, как ты его себе представляешь? Одиночество, закрепощенность людей, – это все, что тебе известно. А что за этим, какие силы там играют?

– Мне это не нужно. Нужно спокойствие найденной цели.

Я замолчал.

– Этого мало. В тебе есть некоторое ограниченное состояние сознания, куда тебя постоянно заносит. Как в ловушку, где не открывается дверца. Ты пытаешься разрушить в себе шаблон, который формируется в сознании человека навязчивыми объяснениями людей.

Его слова были как маслом по сердцу. Да, мое главное стремление – разрушить шаблон.

– Вам объясняют с самого рождения: мир такой-то и такой-то. И у вас нет выбора. Вы вынуждены принять, что мир именно таков, каким его вам приписывают. Мир определяется привычными вам прописями познания, и они есть следствие только воспитания. Живете по внутреннему распорядку, которого не сознаете. А нужно знать распорядок иной реальности.

– Неверно! – закричал я. – Я должен знать свой распорядок, чтобы подняться до распорядка иной реальности.

Шаман взглядывался в меня. Он начал издали:

– Ты родился в Сибири, куда сослали твоих предков, как

кулаков. Они ожесточились в выживании, их душа покрылась коркой равнодушия и жертвенности. И не можешь разрушить эту корку. Это передалось тебе в генах предков. Не можешь уйти в иную реальность, за пределы твоих генов.

Я был поражен.

– Откуда вы, из другого темного века, узнали о моих предках, и о моей жизни?

– Я шаман, живу не в вашей реальности. Живу в энергии, свободной от ограничений влияния социализации и синтаксиса. В чистой вибрирующей энергии.

Я понимал его. Иногда мне тоже так казалось, что живу в потоке энергии. И повернулся к дону Хуану.

– Могу вырваться, но не вашим же воздействием на человека демонов в природе, и человека – на духов природы. Хотя, если глубоко вникнуть, в этом есть что-то. Шопот духов в шевелящихся от ветра травах...

Дона Хуана мои слова не смутили, он продолжал свое:

– Со дня рождения каждый, с кем тебя сталкивала жизнь, так или иначе что-то с тобой делал.

Я молча принял эту правду.

– И даже против своей воли.

– Да, – оживился я. – Всю жизнь вынужден был подчиняться обстоятельствам, тирании времени.

– Тебе нравится себя жалеть. Ты слабый, приспособлен к твоему обществу. Отказываешься вести собственные битвы, копаешься в собственных проблемах, не желаешь вникать в

живые души природы, и потому не можешь разобраться ни в себе, ни в жизни. Жалобы – разновидность наслаждения, сладость слез, удовлетворение от жалости к себе. И мало кто пытается отстраниться от постоянного уязвления и обид, уйти в поля энергии, в которых иные ориентиры. Злиться на внешние препятствия, на унижения – это тупик. Не будь зол к чужим порокам, они и твои. У тебя нет времени на вздорные мысли и настроения.

Я был оскорблен.

– У меня нет обид! Мной движет не хныканье, а тяжесть – в сердце! – от метафизического ограничения всего и всех. Я не жалею себя – сопереживаю вместе со всеми. Хочу выплеснуть, наконец, всю горечь души! Тоску всех, и освобождение всех. Закрепощение – актуально.

Маг усмехнулся.

– Я не уволю человека от его переживаний перед насилием. Ради Бога, пусть переживает личные радости и страдания! Говорю о творчестве, которое требует ухода от личных переживаний в широкий мир, чтобы увидеть все.

– Но как я могу отстраниться так, чтобы с холодным сердцем наблюдать этот ужас? А сопротивление насилию? Стремление к свободе? Не ушло столкновение интересов, подавляющих одних другими. На этом строят сюжеты писатели! Что такое одиночество Кафки и ему подобных, вплоть до Хармса, их депрессия, задыхающихся в экзистенциальном тоталитаризме мира, которые лечились творчеством,

чтобы не сойти с ума? Почему Чехов потерял сад, как свою жизнь? А как быть с освобождением от насилия? Что такое преступления перед человечеством? Ведь даже ландшафт Луны – свидетельство былых преступлений! Что-то говорит мне, что не смогу подняться из личного негодования, что субъективен до слепоты.

– Хорошо, ты проявил мужество перед тотальной системой насилия. А дальше что? У вашего Солженицына «жить не по лжи» – было мужество перед тоталитарной системой. Его книги – отвержение зла. Но противопоставлять себя злу – мало. А дальше что? Настоящие проблемы начинаются потом – в думании о жизни в условиях свободы. Нужен поиск истины. И тогда возвышенное негодование лишается значимости. Рассматривать чьи-либо противостоящие действия как низкие, подлые, отвратительные и порочные, – значит придавать неоправданное значение личности, их совершившей, то есть потакать его чувству собственной важности.

Я был ошарашен этим неожиданным выводом.

– А если свободы не предвидится?

– Тебе что, хватит сил отвечать за весь мир? Не пытайся бороться со всем миром. Это просто невозможно, поэтому лучше сосредоточиться на действительно важных темах. Достаточно отвечать за себя, близких и друзей. Большого для таких, как ты, не будет. Силенок не хватит.

– Но хотя бы стремлюсь!

– Что тебе мир? Тебя интересует только свое «я». Твоя

судьба – выбираться из одиночества в этом мире. Как и любого. И отсюда твоя боль, презрение и жалость.

Он не знал, что во мне осталась только бессильная жалость.

– Ты всего лишь один из людей, в массе идущих рядом.

– Не собираюсь выделяться. Просто ищу выход.

– Ты не защищен, – невозмутимо сказал дон Хуан. – Беспокойство делает тебя доступным. Ты раскрываешься, цепляешься, и истощаешь себя и других. Когда ты прячешься, об этом узнают все, и каждый может тебя чем угодно ткнуть. Я тоже в молодости был доступен. И раскрывался, до тех пор, пока от меня ничего не осталось. А что осталось, могло только нить.

– А как же открывать себя в тексте?

– Ты в тексте обнажаешься так, что все твои близкие негодуют. Надо не договаривать, человек – это тайна. Причина в том, что ты слишком доступен. После твоей повести о ваших с женой отношениях узнали все вокруг.

– Это не так! Я типизирую, даже самого себя. Что тут плохого? Не показываю заветное, личное.

– Все равно это ужасно! Ведь она прекрасный человек, тонкая личность. А ты только мучаешь жену.

– Да, она обладает здравым смыслом, и не любит философствовать.

– Она для тебя особенная, а для таких нужны хорошие дела. Что ты сделал для жены, чтобы она, наконец, успокои-

лась? Что она от тебя хочет, а ты не знаешь? Подумай.

Во мне снова возникло чувство стыда и униженности. Для меня самого это было загадкой. Отчего мы спорим, иногда доходим до развода? Я иногда думал, что она подчинила меня своей властностью – от ее суровой матери, и был доволен, что она берет на себя все заботы, хотя этой заботой третирует меня. Одна уходит в магазин и тащит оттуда тяжелые сумки, прежде чем я успеваю подумать об этом, и потом сурово молчит от обиды, что я невнимателен к ней.

– Мелкое – оно в тебе. Потому и стыдишься. Ты потворствуешь своей чувствительности. Дело в доступности. Ты всегда находишься в пределах досягаемости своей подруги. Пока чувства не истощатся, и останется скука.

– Это зависит от того, насколько человек глубок.

– Неважно. Ты должен встречаться с ней осторожно и бережно. Это не означает – прятаться и скрытничать. А осторожно обращаться с людьми. Не высасывать из мира последние капли, а, оставаясь в мире, лишь касаться его, сколько нужно, и потом уходить, не оставляя следов. Быть недостижимым, значит бережно соприкасаться с окружающим миром.

Маг меня достал.

– Быть недостижимым невозможно!

– Как невозможно? Съесть только необходимое, не калечить зазря растения, не пользоваться людьми.

– Я ими не пользуюсь. Скорее, они...

– У тебя врагов нет, и тебе не свойственно ненавидеть мир. А у меня это было. Моя ненависть к людям была способом потакать моим слабостям. Теперь этого нет.

Я самодовольно улыбнулся. Он отрезвил меня:

– Ты принимаешь ответственность за свои поступки, но без энергии любви. Словно несешь чужую ношу.

– Отвечать надо не за себя, а за других, в первую очередь близких.

– Самоотречение – самый худший способ потакать своим желаниям. Поступая так, мы заставляем себя верить, что совершаем нечто значительное, чуть ли не подвиг. А на самом деле только еще более углубляемся в самолюбование. В самолюбовании – чувство собственной важности. Если не отвечаешь за свои действия, то не будешь отвечать и за близких.

Он меня поразил. Я всегда считал, что творчество – это самоотречение ради людей. Маг добивал меня:

– Чтобы выйти, как ты говоришь, за изгородь общепринятого, нужно забыть себя, личную историю. Тогда отпадут самолюбие и тщеславие. Узнаешь, что это не важно. Я не чувствую себя более великим, чем любое другое явление в этом мире, потому что смерть всегда рядом с нами, и не щадит никого.

Я уже знал дона Хуана по записям Карлоса, поэтому ничего другого от него не ждал.

– Как это забыть свою личную историю? Оберегание личной жизни означает оберегание от обид на унижающий меня мир и месть, гордость и тщеславие. Отказаться от себя?

– Это не будет отказ от себя. Ты будешь просто всем, что вокруг тебя.

Он обвел бесплотной рукой сонное царство вокруг.

– И тогда услышишь, что тебе говорит листва, шевелящаяся от ветра, тайные мысли людей. Это не отказ от себя, у тебя остается *сила* – твоя энергия. Все есть энергия, а не что-то вещное.

– Вы противоречите сами себе, что нужно забыть себя, личную историю.

– Я говорю о пустой трате сил. Самое простое действие может означать смерть. Она рядом. Смерть находится везде, – нагнул меня к земле дон Хуан. – Она может принять вид зажженных фар, которые исчезают в темноте, и опять появляются на следующем холме. Это огни на голове смерти.

Я понимал его, но мысль о смерти рядом была непривычна.

– Очень современная метафора. Но я не могу жить так, чтобы постоянно ощущать сзади огни смерти. Хочу остаться в мгновении бессмертия, которое заключено в бесконечности сферы золотого шара, как у древних греков.

– Потому нечего раздумывать. Есть время только на то, чтобы принять решение. А ты так и не возжешь огонь собственного духа, промучаешься до старости в сомнениях, по-

ка не будет уже поздно. Действия бесполезны, впереди ждет смерть. Но ты должен действовать, как будто не знаешь об этом.

Дон Хуан отвердел скулами.

– В жизни воина нет жалости к себе. Не выискивать в себе недостатки, хныкать и юлить, жалость к себе несовместима с силой.

Я метнулся в протесте, но он остановил меня жестом.

– Это настроение воина, самоконтроль и отрешенность. Превзойти самого себя! Это настроение не дает цепляться за всякий вздор и позволяет оставаться чистым.

Я не мог согласиться совершать насилие над собой. Какой есть, такой есть.

– Но без сомнений я буду тупой пробойной силой! Так бывает только на войне. Не могу уподобиться генералу, без сомнений принявшему решение бросить человеческую массу на доты, или там дзоты. А в мирное время надо сомневаться до конца. Выбираешь, значит теряешь иные пути. Выбор есть и потеря.

– Что такое свобода выбора? Разве ты выбираешь? Выбор – это принятие на себя ответственности за то, что любишь. Любить легко, а нести ответственность за любимое – тяжело.

Маг вздохнул.

– Средства обычной жизни не являются щитами воина. Обычная жизнь становится позади, и он должен найти новый способ жизни, чтобы выжить. В глубоком знанье жизни

нет, и человек осознает и то, что смерть на этом пути – верный попутчик, который всегда рядом. Знание о смерти превращает знание в энергию, в реальную силу. Только принятие смерти может дать человеку отрешенность достаточную, чтобы отказаться от чего угодно.

– Но я не хочу становиться суровым воином! Как большевики, выкованные из стали.

– Под реальной силой я понимаю способность к самостоятельным действиям.

Он озадаченно посмотрел на меня.

– Скажи, мы с тобой равны?

Я подумал, что во всяком случае я современный человек, а он отстал на столетия.

– Равны.

– Нет, мы не равны. Я охотник, а ты обыватель.

Он повторил обидную фразу, которую сказал его ученику Карлосу. Моя беседа с магом почти совпадала с беседой между ним и Карлосом, потому что мы шли к иной реальности похожей тропой.

Да, это так. Я много мыслил, но при малейшем сопротивлении среды легонько сбрасывал со своих плеч ношу сопротивления.

– Ты думаешь, что живешь в непостижимом мире. А это островок в бесконечном непознанном. Реальность, на которую люди смотрят ежедневно, не более, чем описание, которым забиты головы людей, не видящих ничего вне, представ-

ляемого как ничто. Бесконечный поток чувственных восприятий – одно из множества описаний мира. Программа восприятия, заложенного с рождения, определяет всю вашу судьбу. Ты должен разбить определенность обыденного взгляда. Твои чувства и желания – лишь преходящие чувства и желания человека. Мы все – призраки. Люди заставляют себя суетиться и запутываться, а потом исчезают, рассыпаются как дым.

Действительно, что-то моей голове изменилось. Смотрю в один реальный мир – но в моем сознании появилось много миров, не объясненных нашей философией и искусством, всем нашим знанием. Человечество живет лишь на одной из планет, оно не единственный избранный в мироздании.

– Пусть каждое из твоих действий будет последним на земле. Ведь тебе предстоит умереть.

Он выпячивает мои недостатки, предлагая выскочить из обыденного сознания в необычную реальность, о которой я ничего не знаю. Осознать, что у меня нет времени.

Дон Хуан был деловито серьезен.

– Есть силы, которые руководят нашей жизнью и смертью. Ты должен изменить свой мир.

Он внушал мне нелепости, учил *видеть*. То есть воспринимать время не социально, а так, как оно течет во вселенной. Видеть человека как светоносное существо, в виде светящегося шара энергии, и различать в нем определенные че-

ловеческие черты, свойственные всем людям в целом, в точке повышенной яркости, в которой собирается восприятие.

– Когда *видишь*, человеческое существо выглядит как сгусток световых волокон, похожих на белую паутину, подобен светящимся протуберанцам, вырывающимся во всех направлениях.

Странно, ничто во мне не вызывало несогласия с этим мистическим представлением. Всегда предчувствовал, что человеческое существо является энергией. На международном форуме экстрасенсов, ясновидцев, парапсихологов на тему «За духовное единство человечества», организованном нашим общественным движением, меня восхитила в их предсказаниях широта мазков по всемирному, вселенскому полотну. Некая невесомость вселенского размаха их идей.

«Безличная энергия – в мире, она входит в тело. Мы меняем одно тело на другое, как одежду. Внутри циркулируют тонкие виды энергии, через 72 тысячи каналов... Солнечный ветер снимает информацию с каждого... Мистерии духовной передачи...»

«Вселенная – разумное существо. Человечество – отражение единого разума как единого живого существа. Войны и прочая политика – поражение мозга человечества».

«Заканчивается эпоха материализма, отвергающего духовный принцип. Этот мир пройдет очищение огнем, сожжет Аримана...»

«Заканчивается эпоха Земли, эпоха юности. Начинается

зрелость... Всполохи будущей эпохи Водолея...»

Поди-ка докажи обратное!

Шаман продолжал гнуть свое:

– Любой человек находится в контакте со всем миром. С помощью пучка длинных волокон, исходящих из середины живота. Этими волокнами человек соединяется со всем миром, благодаря им сохраняет равновесие, они придают ему устойчивость. Поэтому война не беспокоит страхи. Вместо этого он думает о чудесах полей энергии. Все остальное – пустяки, не имеющие значения.

Такое видение энергии предполагает иные выводы в системе познания, которые не подчиняются логическим соображениям или попыткам согласовать их с привычной нам системой интерпретации, следствием воспитания.

Эта система познания, которую невозможно описать с помощью привычных для нас концепций. *Видение* – это изучение собственной жизни путем отстранения, а не с позиции оценивания прошлых ошибок. Постичь свою жизнь, чтобы изменить ее ход.

– Обычный человек является либо победителем, либо побежденным. И в соответствии с этим становится личностью, творцом или жертвой. Состояние жертвы превалирует у тех, кто *не видит*. Видение рассеивает иллюзию победы, поражения или страдания.

Мир – это тайна, – вещал маг. – Он бесконечен в каждой своей точке. И все попытки его прояснить – это всего лишь

попытки что-то прояснить для себя, сделать какой-то аспект мира чем-то знакомым, привычным. Для вас мир реален, потому что привычный. Публика любит, чтобы удивляли знакомым. Нужно умение сначала разрушить мир, а потом восстановить его для того, чтобы продолжать жить.

Он предлагал *остановить мир*.

Я плохо соображал, о чем он. Не делать, чего делал, то есть полностью изменить взгляд, изменить привычное представление о мире? Это, как говорила Анна Ахматова: больше всего делаешь, когда ничего не делаешь. И тогда мой путь станет *силой*.

– А если не могу?

– Исследуй жизнь, как ученый собирает материал. Загляни в глубину процесса, в глубину настоящих характеров, а не твоих манекенов. Что там происходит? Почему любят себя, и отчуждены от других? Почему не хотят познавать себя?

– Я и пытаюсь так делать!

Маг видел мои колебания.

– Какое у тебя место *силы*?

Я подумал. И впервые радостно оживился.

– Мое место силы там, за этим холодом у сердца. Там, где душа отдохнет, как у лермонтовского бродяги-пирата на берегу, тоскующего о скитаниях: не мелькнет ли парус крылом чайки там, вдали.

– А конкретное место?

– Наверно, утес, над которым, открылся безграничный океан. Воспоминание детства.

– А где же твой утес? Место, откуда видно все?

Словно от взмаха волшебной палочки, передо мной открылся необозримый океан. Он дышал бескрайней грудью, вблизи были видны изменения бликов, а в целом он был застывшим. Это был мир, вселенная, где можно не укорачивать дыхание, а дышать так же безгранично, как и океан.

Понятно, это лишь озерцо на теле Земли, а сама Земля – чуть различимый шарик планеты для космического путешественника. А все живущее на нем, для нас внутри неизмеримое, на самом деле некая живая плесень на этом шарике. Глобальный процесс в человечестве ограничен благодаря шарообразности планеты, ограниченности шара с его голубой оболочкой. То есть, наш мир ограничен, и мы лишь догадываемся о вселенной. И только мысль и переживание превращают природную и социальную среду в метафору бесконечности.

На меня снова нахлынуло благоговение перед природой и жизнью, и глубокая печаль краткости, и боль потерь, и одиночество, и неистребимая вера в бессмертие. Дон Хуан долго смотрел в слепящую бездну.

– Здесь, на этой остановке ты окончишь свой последний танец жизни.

– Но такую пляску могут отплясать и обычные люди, не достигшие знания силы. Настолько тупые, что будут плясать

в оптимизме своего бессмертия, пока не дотронется рука смерти.

– Это будет плохая смерть.

– Мой путь ведет меня по моему страстному желанию и воле! Это путь моей *силы*.

– Это путь хороший, когда имеешь сердце, хотя он ведет в никуда.

И все же воин шамана и мага показался мне банальным, с его времени пронесся целый вихрь событий, настала новая эпоха, и нужно снова искать спасительные смыслы.

Дон Хуан не договорил что-то очень важное – я проснулся. И, с онемевшей от лежания на столе щекой, перевалившись в кровать, впервые быстро заснул. Словно решил какие-то вопросы, не дававшие мне забыться.

Когда чувствуешь опасность близким – вот тогда всполошишься, ощущая ответственность в ее самом жгучем виде. В остальных случаях преобладает тревога за себя и всех, кого знаешь, перед равнодушным миром, или эгоизм, не замечающий ничего вокруг. Хотя есть эгоизм стариков – от бессилия быть иными.

Жена Катя все время названивала в районную и специализированные поликлиники, чтобы тетю Марину проверили, сделали томографию (КТ, МРТ, ПЭТ), биорезонансную диагностику. И приходилось тратить большие деньги на платные клиники и такси (ведь, запрет ездить на метро старушке на самоизоляции), чтобы она сдала анализ крови на гемоглобин, анализ мочи, ГГТ, тироксин, антитела, холестерин... Существенных сбоев в здоровье у нее не оказалось. «Мне бы такое здоровье!» – восклицала старая врачиха.

Но тетя не верила, и добивалась всей своей беззащитной старостью, чтобы ее отвезли на такси в очередную клинику.

Жена была в отчаянии – где взять столько денег на постоянные поездки в клиники на такси.

– Надо бы нанять няню, но денег нет. И она не хочет, чтобы кто-то постоянно с ней жил.

– Будь проще, – говорил ей я. – Пока ей неплохо, нельзя

же потакать.

– Не могу я, – плакала Катя. – Ведь, родная тетя.

И набрасывалась на мужа.

– А когда ты будешь стариком без сил, кто тебе поможет?

Только близкие.

Когда тетка сказала по телефону, что умирает, всю родню охватила паника.

Но когда все собрались вокруг нее, она попросила шипы на обувь.

– Хочу выйти погулять.

Дома я удивлялся:

– Когда тетя забывает о себе, то становится веселой и говорит нормально.

Тетя снова позвонила, и я услышал краем уха, как она выговаривала Кате:

– Что ты этого здорового бугая опекаешь? На нем воду возить.

Жена оскорбилась:

– Он у меня болен. Психически.

Я тоже был оскорблен, но не словами Кати.

– Никогда не буду умирать так, как твоя тетя!

Тетка все-таки счастливая, есть кому звонить, заботиться. А я окажусь один, без корня, рассеянного в бесконечном пространстве и времени. Да еще, видите ли, больной психически. И вообразил себя без единственного родного человека – жены, засыпающего на ночной скамье на морозе, пока не

соскользну вниз, распластавшись черным пятном на снегу.

После моей опубликованной повестушки у нас с женой установились нормальные отношения – мы стали жить отчужденно, каждый своей жизнью, поняли, что стоим друг для друга.

Я долго и трудно взбирался на вершину познания, выходя за изгородь повседневности. Раньше на крутых склонах зеленые ветки строчек текста засыхали, словно им не хватало воздуха, в них не было жирного чернозема жизни. Я писал в пустоте, вакууме, потому что думал только о себе, отдельно от всех. И смысл ушел в романтический тупик. Не хватало широкого кругозора, который дается внутренним порывом освоить вершины культуры. Не внешним опытом дается опыт творчества. Есть внутренний опыт осмысления сущего.

Меня внезапно осенило:

– Тетка Марина – это я! – как воскликнул бы Флобер. Я был глубоко озабочен своей особой, желая исцелиться вне окружающего мира. Как и очень многие непросветленные люди.

Наконец, стал понимать, что в своих бесконечных догадках, как писать, хожу вокруг да около того же, о чем, оказывается, заранее знала моя жена и только усмехалась надо мной. Она знала это интуитивно, всегда жила любовью, жалела всех, без всяких исканий себя и мира. А я не мог так

отчаянно бросаться на помощь ближнему, как это делает жена. Во мне лениво встают какие-то противящиеся силы, но совесть нехотя поднимает меня.

Понял, что вся моя жизнь была попыткой припасть к любимым коленям. Оказалось, что все мои потуги-заклинания, убирающиеся временные подпорки в строительстве себя, не были нужны, это были лишь попытки разбудить во мне любовь, чтобы разжечь в себе «огнедышащее слово», как говорил Гоголь.

Все изменилось, когда я нечаянно отвлекся от моей «личной истории», и стал понимать и жалеть других.

Мне открылась необъятность жизни человека, и перестал видеть в нем эгоиста, малограмотного и слепого в убеждениях. Увидел фантастического человека, которого нельзя понять.

Но разве только любовью полон человек? Я тогда еще не знал, что учился видеть момент настоящего то ли из будущего, то ли единого прошлого-настоящего.

В мире все связано, и одновременно живет прошлое и настоящее. Недаром наука, в том числе археология, возвращает прошлое в настоящее. Тем более информационные и цифровые технологии не ускоряют время, а стремятся к неразделимости прошлого и настоящего.

Древние греки не знали самого главного – что они древние

греки. Подлинная ценность – в старинности, в отложившихся ценностях. Мы платим за то, чтобы разглядеть в прошлом настоящее и будущее. Я вижу на стене, в кабинете-спальне, коричневое блюдо из вулканической пемзы с остатками до-рических колонн, привезенное из Помпеи. Смотрю и ощущаю, с подкатывающим слезами, рядом целые дома, дворцы с колоннами, оживленные улицы, и божий гнев нависшего раскаленного пепла пиропластического потока, выжигающего эту уникальную жизнь – тысячелетия назад. Все это как будто сейчас.

Мы всегда только углубляемся в прошлое, оно – вечная загадка, никогда до конца не поймем, хотя бы потому, что не жили там.

Дон Хуан говорил: «Время – форма упорядоченности энергии, которую человек может непосредственно осязать и приводить в движение. Это не мир иллюзии, а реальный и прагматичный». Настоящее – летящий гребень уходящей волны, всколыхнувшаяся энергия живого человечества. Что может удержать ее в настоящем? И какая грусть – прощаться с тем, что дорого, и что не спасти. С любовью, которой больше никогда не будет.

Одно становится для меня несомненно – все соединяет любовь, оживляющая времена и эпохи, чтобы текучее существо человек мог существовать, и таким образом держать человечество на плаву, оставляя за собой бесчисленные могилы. Это что-то иррациональное.

Оказалось, что мои беды, негодования от унижения людьми, или фальшь в себе, отчаянное одиночество в отчужденном мире, чувство оторванного листка, безвольно кружащегося в «пустыне мира», – все это из ничтожных позывов мелких чувств, недостойных перед величием мира, его гибелью и новым рождением. Потеря взгляда на временность реальности, когда не видишь изменений впереди.

И мои тексты начали обретать ясность. Видел уже не фотографическую картинку жизни, как например, суету моей общественной организации со стремлением продержаться и победить.

Все стало мгновением преходящего настоящего, прокатившегося в страданиях, нехватках и боли потерь, и острая жалость к нему.

Во мне меньше стало тревоги за недостаточность переживаний – пищи для творчества. Не обязательно быть эмоциональной судьбой. Можно отливать холодные оценки, раздвигающие ясным светом стенки реальности, но в которых ощущалась бы подлинная радость и горечь существования. Чтобы усилить желание писать, надо взглянуть в глубину трагедии существования человека. Понял, что творчество зиждется на трагедии. «Я начинаю симфонию с чувством трагедии» – Мравинский. Пение его оркестра было грандиозным! И слушатель чувствовал, что с ним что-то произошло. Не то, как другие играли симфонии как-то камерно, не дотягивая.

Правда, мысли стало тяжело формулировать словами, писать стало тяжело, я с трудом выдавливал из себя настоящие строчки, похожие на бледно-зеленые ветви дерева моей судьбы.

*Когда бы знал я, как бывает
Когда пускался на дебют...*

Я лепил тексты, строчками, неожиданно выплывающими ночью, когда просыпался, чтобы записать в дневнике.

Написал несколько книг, где бросал своих героев во все концы мироздания. Это был и чужой мир, сузившийся до острова оставшихся гуннов в неизвестном океане, где герой восставал против восточной деспотии. И пустынный космос, куда унесло туриста, зачем-то отцепившего фал от корабля. И безлюдная Земля, где человечество погибло из-за смертельного вируса, и не стало цивилизации, культуры, искусства, – свернется ли оставшаяся кучка людей калачиком в ожидании смерти или найдет силы начать снова? И внезапно оккупированная самой мощной империей наша страна, которая в немыслимом для нас положении начала сопротивление (в книге оправдалось наше представление о врагах, окруживших нас частоколом ракет). И горящая планета в конце света, откуда вывозили людей благородные инопланетяне. Наконец, шестидесятые прошлого века, отчаянные попытки героя приблизить свободу, взорвать систему диктатуры...

Все это было о стойкости воина, на неравном пути кото-

рого то мелькают, то исчезают фары смерти.

Мои книги были опубликованы в электронных издательствах. Бумажные издательства не отвечали на предложения издать мои книги, глухо молчали, потому что доход приносили только авторы на слуху. Может быть, мои вещи не пропускал их внутренний цензор, пугающийся слишком вольно мыслящего автора?

Жена решительно отказывалась читать мои опусы. Может быть, боялась, что я слишком обнажаюсь, как это делают на передачах телевидения, захожу за рамки запретного, тайны нашей жизни. Или боялась открыть в нашей с ней жизни нечто, что ужаснуло бы ее. Она не хотела страдания. В ней было целомудрие, воспитанное с детства.

Да и я уже не хотел, чтобы она читала мои опусы. Наверно, деликатно берег ее пристрастную натуру, или засела обида.

Мои откровения покоились где-то в «помойке» интернета. Никакого отзвука. И в моем новом необычном мире было бы странно подозревать, что издательства умалчивают о распродаже моих книг и гонорарах. Вроде неоткуда взяться таким подозрениям.

Я оказался в гулкой пустоте мира. Так, наверно, Чехов, не чета мне, выходил из театра в беспмятстве после того, как публика освистала его пьесу. «Им не интересна сама моя душа», – будто сказал он.

Мне говорили: ты наивен, сейчас, чтобы заметили, надо бить во все колокола, трубить везде о твоих шедеврах! Рекламирывать себя вовсю в интернете. Обращаться к известным авторам, что вытащит меня из помойки. Только тогда тебя заметят.

– Даже плохие книги можно раскрутить хорошей рекламой. Вон, пятеро американских журналистов решили написать намеренно самый плохой роман под названием «Я выхожу, обнаженная», и в качестве автора придумали домохозяйку. После разнузданной рекламы роман быстро разошелся, покорила все континенты.

– Ну, спасибо, сравнили.

– А ты талантлив! Но без пиара никуда.

Но я не мог перешагнуть красную черту совести. Было совестно заниматься пиаром, давать объявления, что вот, мол, появился новый интересный автор, зазывать в фейсбуке, просить знакомых поместить от себя в интернете рецензию, написанную мной. Меня обездвигивает мысль: если я интересен, то все равно заметят. «Сами предложат и сами дадут», – горько повторял цитату из М. Булгакова.

А может быть, просто боялся выйти на белый свет со всеми моими потрохами? Для меня радость обдумывать и радоваться точной строчке, и отвратительно всему организму бороться за какое-то продвижение.

Видно, не захотели предложить. А если не нужен, то туда мне и дорога.

Неужели мои поиски смысла не нужны хотя бы тому же портному? Ведь, чтобы шить хорошо, он должен ощутить смысл своего дела – вообразить не безличный конвейер штанов и платьев, а близких, семью и себя, которым шьет.

Я оказался не нужен занятым собой людям.

По данным исследований 90% опубликованных книг не были прочитаны: ведь на одну прочитанную страницу приходится 10 тысяч других. Для книг с нулевым спросом, которых слишком много, появился отдельный термин – «макулатурный фактор». Мало того, что мы не успеваем прочитать опубликованное, так эти данные быстро теряют свою актуальность, а на их место приходят новые данные и новые публикации. Еще в 70-х годах XX века ученые дали характеристику лавинообразному увеличению количества информации, как «информационный взрыв».

Нужно ли людям что-то иное? Может быть, не любят тяжелое, что есть в моих книгах, – они на своей шкуре испытывают, что такое жизнь и смерть, и хотят такой правды, которая внушает, что пока они не умрут. Нужны развлечения, чтобы отвлечься. Эту радость дает им телевизор и кино.

Но для чего я тогда вымучиваю строчки? Может быть, это мой способ найти смысл жить? А у других людей есть другие способы, чтобы не умереть от бессмысленности существования.

Хватит ли мне сил продолжать искать «огнедышащее слово», чтобы взбодрить самого себя? Мои поиски, писания –

это и есть мои действия, поступки. Добираться до истины, включая отдирание самого себя от всего мелкого, низкого и злого, обиженного и обижающего.

Может быть, я опоздал, оставшись в прошлом времени? Или даже не пребываю в своем времени? Любая эпоха чувствует себя в конечном счете счастливой, исполнившей свое предназначение, и не хочет стать иной. Современны ли сейчас Пушкин, Толстой, Чехов? Ведь они стали привычными, ветхими, даже по стилю!

Нужны ли сейчас классики с выдуманными персонажами, и даже исповедальные признания?

Жизнь стала проще, потеряла тонкость и изящность. Точнее, массовый читатель стал невежественным. Ему не надо толстых томов. Клипы, картинки еще щекочут обленившийся дух. Кажется, литература уходит в «нон-фикшн» или клипы.

Какое-то подземное изменение коснулось культуры. Искусство и литература окончательно уходят от натурализма, старого реализма. Сейчас, вопреки «олдам», как называют стариков «непоротые» молодые, пришло клиповое мышление, часто с матом – последним выражением истины. Клиповость – это осколки разлетевшегося единства. Блоги, подкасты, флешмобы, поп-музыка, хард-рок, прогрессив-рок, арт-и синти-рок, психоделический рок, рэп, металл. Не говоря уже о зарубежных: чилийский реггетон, трэп и хип-хоп, бразильский сертанежу, апокалиптический вуду-панк, ямай-

ская музыка регги, традиционная пуэрто-риканская музыка – бомбы и плены, фолк, фанк.

Вот некая рок-группа «Операция Пластилин» из российской глубинки:

*Летящие в бездну не собьются с пути,
и мы не забудем их имена.
Ангелы улиц помогут пройти,
Сохранив свои зубы, по этим дворам.*

Или из других групп:

*Меня полюбило небо, но я не открыл глаза.
Одинокая проблема в одинокого тебя
грустью стекает, голос мой в тебе дрожит.
Убийцу будут молить о пощаде,
глупых молить о разводе.
Старых найдут без вещей,
ведь старость давно как не в моде.
Меня съедает мой город...*

Но ведь это что-то близкое! Это что, у молодых, у всех, одна тема – одиночество?

Может быть, грядет синтез науки и экзистенции, то есть эмоционально-духовного измерения человека, который и творит все, – рождается новое направление искусства и литературы, открывающее иные горизонты.

Я изменился. Теперь работаю в моем независимом объединении легко, с иронией. Стал добродушным с сотрудниками, занятыми своим существованием, более важным, чем работа, которая изматывает, сушит и озлобляет, не давая ничего, кроме зарплаты. Перестал видеть в них бездельников, но вдруг обнаружил, что они дружат, влюбляются, веселятся в ночных клубах, и также испытывают в семьях такие же трудности, как и у меня. В сущности, я такой же.

И они стали добрее ко мне, тем более на самоизоляции, в которой мы сейчас находились. Мы разговаривали с ними по телефону легко, искренно, осознав после долгого сидения по отдельности, что мы не враги, а на самом деле расположены друг к другу. Понимаем, что с зарплатой туго, и это наша общая забота.

Короче, понял, что аскетизм и желчность – свойства графомана, не умеющего подняться выше обычного существования.

Все мы в какой-то степени графоманы, не выходящие за корявую изгородь обыденного сознания, – политики, чиновники, общественные деятели, даже если не беремся за перо. То есть поверхностные люди, блуждающие в потемках, уверившиеся в случайно влетевшую в душу идею. Одни борются

ся за справедливость, не имея перспективного плана, другие пребывают в иллюзии, убежденные в незыблемости того, чем живут, третьи умиляются средневековому Богу – последней инстанции их духовных поисков.

Весь мир похож на графомана, не умеющего стать на «путь сердцем».

Я раньше видел людей отдельными мне, потому что они были равнодушны ко мне, и злился на них, потому что считал их отношение чем-то важным. А оно оказалось неважным перед чем-то более важным — благоговением перед чудом жизни и неясной печалью ухода всего, что дорого.

*Все, что было, и запах таежный, —
Вдруг повеяло, как залив,
В детство, где еще речью не съезжен,
И его языком говорил.*

Описанное в книгах последних столетий одиночество романтических натур, борьба за выживание, торжество победителей, – все это мелочно, когда поднимаешься на высочайшую гору познания, откуда видно все.

Стало понятно, отчего любовное отношение ко всему окружающему – близко для людей, а равнодушие к другим и самолюбие, порождающее тщеславие, и низкие поступки –

отвратительны для них. Надо, чтобы живое тепло наполняло холодное пространство. Тепло любимых живых людей, воспоминаний, памяти. Тут дело не в отвоевывании порядка из хаоса – это для рационалистов.

Мир – не отчужден. Чужого мира совсем нет! Убери навсегда натурализм взгляда на чужое, его замкнутость, отчего возникает одиночество, – и чужое исчезает. И тогда видишь *состояние времени*, человека на меняющемся ветру времени. Человек – существо текучее, не может застыть на месте, и только открытый простор окрыляет его. Это мир загадочных взаимоотношений людей, драм гораздо более глубоких, чем одиночество.

Теперь могу отоспаться за всю свою недоспанную жизнь!
Но что-то толкает меня продолжать. Воину на пути «с сердцем» нужно идти до конца. Хотя за его левым плечом неотступно следит смерть.

Все перевернулось и встало на новое место, когда мир накрыло что-то темное, заслонившее нашу беззаботную семейную жизнь. На все континенты хлынула пандемия вируса «икс». Жена Катя в своих постоянных хлопотах о других добровольно ушла в «красную зону» клинического центра, хотя это было не по ее профилю. Оттуда не могла возвращаться домой, только ежедневно звонила сообщить, что все с ней хорошо, и руководила моим питанием и жизнью.

Я сжался, сидя за компьютером в моем кабинете-библиотеке, не выходя даже поесть. Из интернета приходила информация о множестве смертей докторов и санитарок «в красной зоне». Она же там сгорит первой! С ее страстью бежать в самое пекло человеческой беды.

В голове вертелись неведомо откуда взявшиеся строки:

*Я умираю – это не смерть,
Это лишь силы гаснут на солнце.*

Мне казалось, само солнце слепо тычется в самоизоляции, в окружении надоевших планет, бессильно изрыгая электронную плазму в пустоту. Но нам, здоровым, это когда-то виделось первозданной утренней зарей, пляжами на безмя-

тежном песчаном берегу острова в океане, и просто радостью пробуждения в утреннем свете за окном.

Но эта моя болтовня на краю беды была вне настоящей тревоги за Катю.

Нет идей, смыслов. Смыслы и ценности объективно не существуют, – писал Зигмунд Фрейд. Есть лишь запас неудовлетворенного либидо. Это человеческое проявление – ставить вопрос о смысле. Ценности нельзя научиться, их нужно пережить.

Оказалось, есть что-то гораздо более серьезное, чем идея ухода в необычный мир. Счастье – это сама жизнь. Вот подлинная ценность! Моя жизнь, в которой нет изобретенных разумом идей. То есть, я и весь мой мир – разновидность чего-то, что просто хочет жить и быть в тревоге за близких.

Все живое рождается и живет без какой-либо цели. Нет в природе, во времени и пространстве цели. У животных цель одна и та же – насытить и продлить себя. Только человек выходит на более высокий уровень – изобретает культуру. И что же?

То, к чему пришел, выскочив из-за изгороди обыденного сознания, оказалось тоже одиночеством перед неизбежным. Выскочить из реальности нельзя. Это тоже иллюзия.

Но что же тогда океан детства, открывшийся мне с утеса, и чувство бесконечной новизны в его безмолвии, в котором

было все, о чем мечтал, и загадочная печаль? Может быть, излечивает это чувство новизны, вечные рождения, обновления и разрушения в пространстве и времени? Дело не в том, чтобы жить и благоговеть перед чудом жизни, а в осознании, понимании смысла событий, в замысле Бога.

– Ты так и не вырос, – говорила жена, уходя за «красную зону». Я и сейчас, написав это, съеживаюсь под ее суровым взглядом, как перед старшей.

Я понял, что больше не могу писать. Все, что писал, не нужно. Как Лев Толстой в конце жизни пришел к выводу, что все его тома художественной прозы не нужны, это грех самолюбия. «Люди любят меня за те пустяки – «Война и мир» и т. п. . . .» И – «уважать меня за Каренину сродни тому, что уважать Эдисона за то, что он хорошо танцует, а не за его великий вклад в науку».

У меня еще не наступило время, как у тетки Марины, когда человек уже не может ничего видеть, кроме своих болей. И ничего не чувствует, кроме своего падения в смерть. Наверно, до самого конца у меня останется сильное желание разобраться в себе и мире, искать истину, и выражать ее в точном слове.

Останется то, чем был счастлив. Щемлящим воспоминанием и печалью, что все проходит. В истории сохраняется, как в «Одиссее», лишь уклад и склад народа, да и то в письменности.

По электронной почте получил приветствие от соратника. Он предлагал стать членом только что созданной им всемирной организации помощи бедным всех стран.

Сегодня меня снова посетил дон Хуан.

Сквозь сон я слышал бормотание мага.

– Обычный человек, не ответственный за все, что делает, слишком озабочен тем, чтобы любить и чтобы его любили. Воин любит, и все. Любит всех, кто ему нравится, и все, что ему по душе. Но не беспокоится об этом. Любить и быть любимым – это далеко не все, что доступно человеку. Воин принимает ответственность за все, что делает. Видение рассеивает иллюзию победы, поражения или страдания. Действия бесполезны, впереди ждет смерть.

Маг признавался:

– Все, что я говорил – это были лишь подпорки, чтобы подвинуть тебя на путь воина-творца.

– Я так и подумал. Меня до сих пор двигают мои подпорки-заклинания.

Он вздохнул.

– Ты угнетен. Внутреннее благополучие – это не просто состояние. Это достижение, к которому нужно стремиться, искать это состояние. А ты ищешь внутреннее неблагополучие, смятение и неразбериху. Делаешь себя несчастным. Нужно делать себя сильным.

Мне было не до него.

– Идите вы...

Он невозмутимо продолжал:

– Нет эпох в истории. Есть только жизнь и смерть. Желание жить вечно. В Древнем Египте люди безусловно верили в бессмертие, в инкарнацию, потому что не мыслили, что человек и его имя исчезают бесследно, разве что его гробницу разрушат и разбросают кости. Сейчас люди знают, что рано или поздно превращаются в прах, но все равно не могут смириться. Ты должен действовать, как будто не знаешь об этом. В этом смысл истории.

Я слушал его равнодушно.

– Ты хочешь вернуться домой. Но обратной дороги нет, и домой нам не вернуться никогда. Все, что мы любили и ненавидели, все, чего желали и за что цеплялись, все это осталось далеко-далеко позади.

Я вспомнил, как, студентом, приезжал на похороны матери в мой родной городок.

*Я приехал туда, где родители жили,
На краю земли, и родина вмиг
Смертью мамы пределы свои обнажила,
И отец состарился сразу и сник.
После похорон –
в речке, как в детстве, я плавал,
Буруны подпрыгивали по камням.
Тело сына, забыв обо всем, ликовало,*

И отец – так странно смотрел на меня.

Я заплакал. Маг монотонно бормотал:

– Но чувства человека не умирают и не меняются. А у страстного человека всегда есть земные чувства, и то, что ему дорого. И если нет ничего другого, то есть хотя бы путь, по которому он идет. Только воин и творец может выстоять на пути знания. Ибо искусство состоит в нахождении и сохранении гармонии и равновесия между всем ужасом человеческого бытия и сказочным чудом того, что мы называем «быть человеком»...

Да, ведь гармония существует! – вспомнил я. – Видеть гармонию мира – это субъективное чувство, присущее только отдельному человеку? Или это – суть мира? Почему система мироздания видится такой осмысленной и стройной? Кем создана эта стройность, или это лишь ощущение – из надежды на бога? Люди видят в небе порядок, по-видимому, управляющий порядком жизни людей, спасающихся от хаоса.

Я видел движущуюся в истории гигантскую волну одиночества человечества, и его всеобъемлющую печаль. Увы, жизнь человечества идет не по пути древних мексиканских шаманов-магов.

И ощутил, что это будет моя последняя книга – танец всей моей жизни. И воспоминание об утесе, откуда я видел целый мир. В его раскрытом безмолвии мира было все, о чем меч-

тал, что может действительно остановить смерть. Пока воин-творец в последний раз не насладится воспоминанием о своей силе.